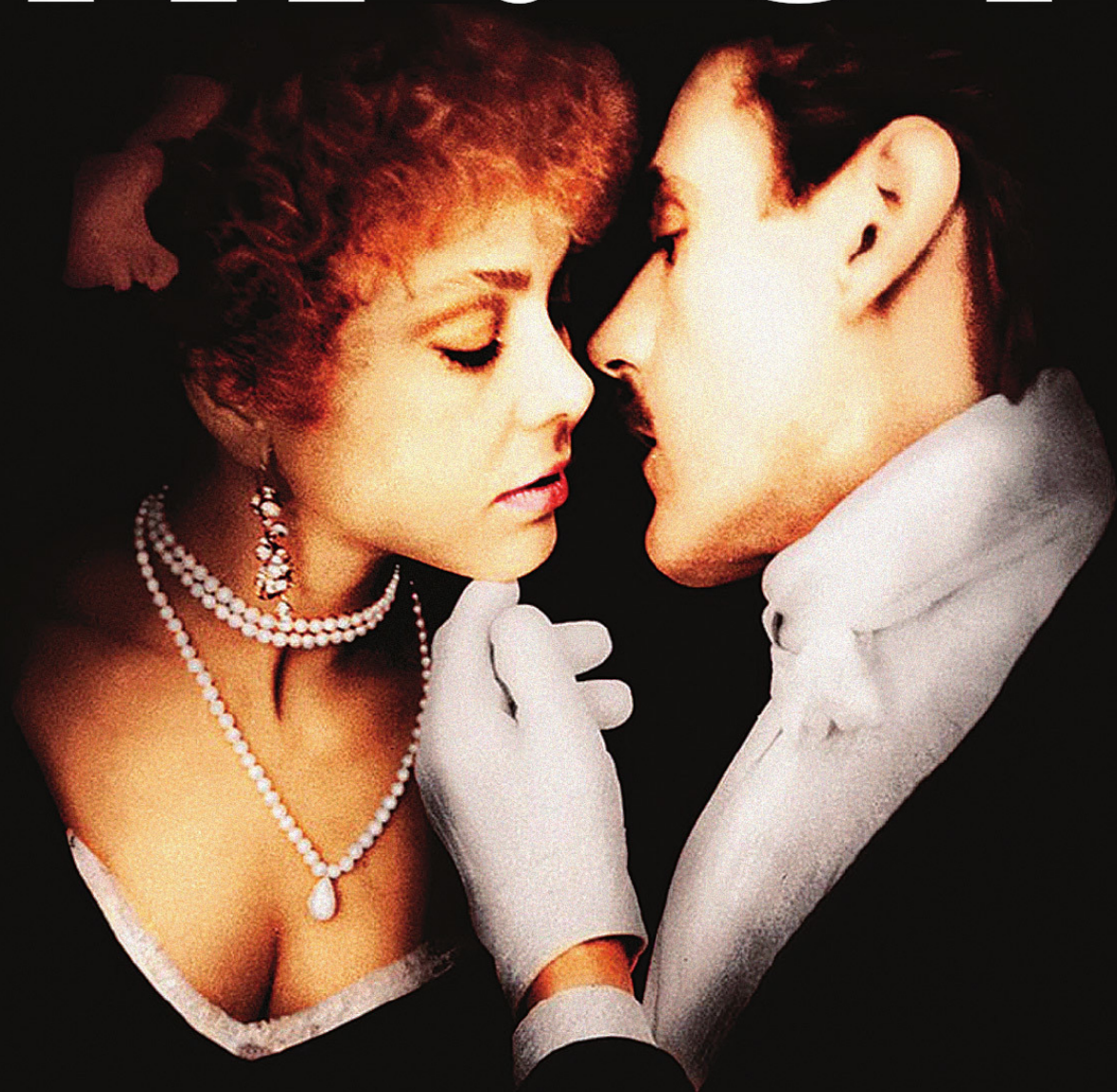


МАРСЕЛЬ ПРУСТ



Любовь Свана

Pocket **&** Travel

Pocket&Travel (Рипол)

Марсель Пруст
Любовь Свана

«РИПОЛ Классик»

1913

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)6

Пруст М.

Любовь Свана / М. Пруст — «РИПОЛ Классик»,
1913 — (Pocket&Travel (Рипол))

ISBN 978-5-386-12843-2

«Любовь Свана» – центральный эпизод первой книги семитомной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Шарль Сван – один из самых элегантных членов жокей-клуба, друг графа Парижского и принца Уэльского, желанный гость в аристократических и художественных салонах и большой любитель женщин. В этой книге рассказывается о страстной любви Свана к очаровательной «даме полусвета» Одетте де Креси.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)6

ISBN 978-5-386-12843-2

© Пруст М., 1913
© РИПОЛ Классик, 1913

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

35

Марсель Пруст Любовь Свана

Чтобы быть допущенным в «кружок», в «кучку», в «маленький клан» Вердюренов, одно условие было достаточно, но оно было необходимо: требовалось молчаливо принять символ веры, одним из членов которого было признание, что молодой пианист, которому в том году покровительствовала г-жа Вердюрен и о котором она говорила: «Положительно, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь мог этак сыграть Вагнера!» – «затмевает» и Планте и Рубинштейна и что доктор Котар более блестящий диагност, чем Потен. Всякий «новобранец», которого Вердюрены не могли убедить, что вечера лиц, не бывающих у них, скучны как ненастье, немедленно подвергался изгнанию. Так как женщины бывали в этом отношении строптивее мужчин и не соглашались безропотно отказываться от суетного любопытства и желания самостоятельно осведомляться, что делается в других салонах, и так как, с другой стороны, Вердюрены чувствовали, что этот дух пылливости и этот демон суетности могут заразить других и оказаться роковыми для ортодоксии маленькой церкви, то они были вынуждены изгнать, одну за другой, всех «верных» женского пола.

Если не считать молодой жены доктора, то прекрасный пол представлен был в том году почти исключительно (несмотря на то, что сама г-жа Вердюрен была особа вполне добродетельная и происходила из почтенной буржуазной семьи, очень богатой и совершенно безвестной, с которой она мало-помалу по собственному почину прервала всякие сношения) молодой женщиной почти что из полусвета, г-жой де Креси, которую г-жа Вердюрен называла по имени, Одеттой, и заявляла, что она «прелесть», и теткой пианиста, выглядевшей как бывшая привратница: особами, совершенно не знавшими света, которых, благодаря их простоте душевной, весьма легко было убедить, что княгиня де Саган и герцогиня Германтская вынуждены платить большие деньги несчастным гостям, иначе на их званые обеды никто бы не ходил; поэтому, если бы кто-нибудь предложил им достать приглашение к двум этим великосветским дамам, то прежняя привратница и кокотка с презрением отвергли бы такое предложение.

Вердюрены не приглашали к обеду: каждый из членов «кучки» знал, что для него приготовлен прибор. Вечера не имели определенной программы. Молодой пианист играл, но только в том случае, если «был в настроении», ибо никого ни к чему не принуждали, и, как говорил г-н Вердюрен: «Мы все здесь друзья. Да здравствуют товарищеские отношения!» Если пианист хотел играть «Полет Валькирий» или вступление к «Тристану», г-жа Вердюрен протестовала не потому, что эта музыка не нравилась ей, но, напротив, потому, что она производила на нее слишком сильное впечатление. «Значит, вы хотите, чтобы у меня была мигрень? Вы отлично знаете, что я всегда бываю больна, если он играет эти вещи. Я знаю, что меня ожидает потом! Завтра, когда я захочу встать, – нет, благодарю покорно!» Если пианист не играл, то завязывался разговор, и один из друзей, чаще всего художник, бывший у них в фаворе в том году, «отпускал», как говорил г-н Вердюрен, «какую-нибудь этакую пикантную штучку, заставлявшую всех покатываться со смеху», особенно г-жу Вердюрен, которой – так прочно укоренилась у нее привычка употреблять в буквальном смысле образные выражения переживаемых ею эмоций – доктор Котар, только еще начинавший практику в то время, должен был однажды вправить челюсть, вывихнутую от неумеренного смеха.

Фрак был запрещен, так как гости Вердюренов были среди «приятелей» и не хотели походить на «скучных людей», от которых они сторонились как от чумы; их приглашали только на большие вечера, даваемые по возможности реже и только в тех случаях, если они могли развлечь художника или упрочить репутацию музыканта. В остальное время довольствовались игрой в шарады, костюмированными ужинами, но среди своих, не вводя никого чужого в «кружок».

Но, по мере того как «приятели» занимали все больше и больше места в жизни г-жи Вердюрен, скучным и достойным порицания становилось все то, что удерживало друзей вдали от нее, что мешало им иногда быть свободными: мать одного из них, профессия другого, дача или нездоровье третьего. Если доктор Котар считал своим долгом встать из-за стола, чтобы возвратиться к какому-нибудь серьезно больному пациенту, – «Кто знает, – говорила ему г-жа Вердюрен, – может быть, для него будет гораздо лучше, если вы не станете беспокоить его сегодня вечером; он отлично поспит без вас; завтра рано утречком вы навестите его и найдете совсем выздоровевшим». С самого начала декабря она делалась больна от мысли, что «верные» изменят ей в день Рождества и Нового года. Тетка пианиста требовала, чтобы он шел с нею в этот день на семейный обед к ее матери.

– Неужели вы думаете, что ваша матушка умрет, – в сердцах восклицала г-жа Вердюрен, – если вы не пообедаете с нею в день Нового года, как в провинции!

Ее беспокойство возобновлялось на Страстной неделе:

– Вы, доктор, – ученый, умный человек; вы, понятно, придете в Страстную пятницу, как во всякий другой день, – сказала она Котару в первый год существования «кружка» таким уверенным тоном, словно не могла сомневаться в ответе. Но она дрожала в ожидании его, ибо, если бы он не пришел, она рисковала бы обедать в одиночестве.

– Я приду в Страстную пятницу... попрощаться с вами, потому что мы собираемся провести праздники в Оверни.

– В Оверни? Чтобы отдать себя на съедение блохам и вшам? Большое же благодеяние окажете вы им!

Затем, помолчав немного:

– Вы бы, по крайней мере, сказали об этом нам раньше, мы постарались бы организовать дело и поехали бы туда вместе, с удобствами.

Равным образом, если у кого-нибудь из «верных» был друг или у одной из постоянных посетительниц – поклонник, способный заставить их «увильнуть» от вечера, то Вердюрены, которых нисколько не пугало то, что женщина имеет любовника, лишь бы только он был у них на виду, она находилась с ним в их обществе и не предпочитала им его, говорили: «Отлично, приведите сюда вашего друга». И его подвергали испытанию, чтобы выяснить, способен ли он не иметь секретов от г-жи Вердюрен и может ли быть принят в «маленький клан». Если он оказывался негодным, то «верного», познакомившего их с ним, отводили в сторонку и оказывали ему услугу, ссоря его с другом или с любовницей. Если же «новенький» выдерживал испытание, то, в свою очередь, становился «верным». Вот почему, когда в том году дама из полусвета сказала г-ну Вердюрену, что она познакомилась с одним очаровательным человеком, г-ном Сваном, и дала понять, что он был бы очень рад быть принятым у них, то г-н Вердюрен тут же передал ее пожелание своей жене. (Он никогда не высказывал своего мнения, не выслушав предварительно жену: его специальной ролью было приводить в исполнение женины желания, а также желания всех вообще «верных», в чем он проявлял огромную изобретательность.)

– Дорогая моя, г-жа де Креси хочет обратиться к тебе с просьбой. Она желала бы представить тебе одного из своих друзей, г-на Свана. Что ты скажешь по этому поводу?

– Ну разве можно отказать в чем-нибудь такому совершенству, как она? Молчите, никто не спрашивает вашего мнения. Говорю вам, что вы – совершенство.

– Если вам угодно, – ответила Одетта изысканно-вежливым тоном и прибавила: – Вы знаете: I'm not fishing for compliments¹.

– Прекрасно! Приведите вашего друга, если он мил. Конечно, «кружок» был совершенно чужд обществу, в котором вращался Сван, и настоящие светские люди нашли бы, что человеку, занимавшему в аристократических кругах такое исключительное положение, едва ли

¹ Я не напрашиваюсь на комплименты (англ.). (Здесь и далее примеч. ред.)

стоит добиваться чести быть принятым у Вердюренов. Но Сван настолько любил женщин, что, познакомившись почти со всеми представительницами аристократии, узнав от них все, чему они могли научить его, он стал смотреть на рекомендательные письма, почти что жалованные грамоты, выданные ему Сен-Жерменским предместьем, только как на своего рода меновую ценность, кредитив, сам по себе ничего не стоивший, но позволявший ему импровизировать видное положение в какой-нибудь провинциальной дыре или глухом парижском квартале, где привлекла его внимание хорошенькая дочка местного дворянчика или секретаря суда. Ибо желание или любовь оживляли в нем в те времена чувство тщеславия, от которого он вовсе освободился в повседневной жизни (хотя, несомненно, это самое чувство некогда побудило его избрать себе карьеру светского человека, в которой он расточил свои дарования на суетные удовольствия и огромную свою эрудицию в вопросах искусства представил к услугам светских дам, советуя им, какие купить картины и как обставить их особняки); это тщеславие наполняло его желанием блеснуть в глазах какой-нибудь пленившей его безвестной красотки элегантно-стью, которой одна фамилия Сван не способна была сообщить ему. С особенной силой возникло у него это желание, если безвестная красotka была из низших кругов. Умный человек не боится показаться глупцом другому умному человеку; так и человек элегантный страшится увидеть непризнание своей элегантно-сти не со стороны вельможи, а со стороны деревенщины. Три четверти ухищрений, три четверти лжи, продиктованной тщеславием и расточенной с тех пор, как существует мир, людьми, достоинство которых она лишь умалила, было расточено ими перед низшими классами. И Сван, простой и естественный в обращении с герцогиней, трепетал перед ее горничной, позировал перед ней, боясь, как бы она не отнеслась к нему пренебрежительно.

Он не принадлежал к числу людей, которые, вследствие ли лени, или же безропотно покоряясь возлагаемой на них социальным положением обязанности всю жизнь свою оставаться пришвартованными к определенному берегу, воздерживаются от удовольствий за пределами того круга, где они вращаются до самой своей смерти, и в заключение доходят до того, что, привыкнув, называют удовольствиями, за неимением лучших, посредственные развлечения и терпимую скуку, предлагаемые им их мирком. Сван не делал попыток находить хорошенькими женщин, с которыми проводил время, но старался проводить время с женщинами, которых нашел хорошенькими. И часто это были женщины довольно низкопробной красоты, ибо физические качества, бессознательно привлекавшие его, составляли полную противоположность тем качествам, которыми он так восхищался в женских портретах или бюстах, исполненных его любимыми художниками. Глубокий взгляд или меланхолическое выражение на лице женщины замораживали его чувства, тогда как, напротив, здоровое, изобильное и розовое тело сразу же воспламеняло его.

Если во время путешествия он встречал семейство, с которым ему, с точки зрения этикета, не следовало бы заводить знакомство, но в котором глаза его замечали женщину, украшенную еще неведомой для него прелестью, то оставаться замкнутым в своем мирке и, обманув возбужденное ею желание, заменить наслаждение, которое он мог бы познать с нею, другим наслаждением, пригласив к себе письмом одну из своих прежних любовниц, показалось бы ему такой же трусостью перед жизнью, таким же нелепым отказом от нового вида счастья, как если бы, вместо посещения страны, где он был, он уединился в свою комнату и стал любоваться видами Парижа. Он не замыкался в солидно построенном здании своих общественных отношений, но сделал из них, так, чтобы ее можно было сызнова разбивать всюду, где он встречал приглянувшуюся ему женщину, как бы разборную палатку, вроде тех, что носят с собой исследователи новых стран. Все, что в этих отношениях не поддавалось переноске или обмену на еще не испытанное наслаждение, выбрасывалось им как вещь, не имеющая цены, как бы ни была она завидна в глазах других. Сколько раз влияние, которым он пользовался у какой-нибудь герцогини, желавшей сделать ему что-нибудь приятное, но годами не встречавшей для

этого подходящего повода, – сколько раз Сван сразу утрачивал его, обратившись к ней, в недуманно составленном письме, с просьбой прислать по телеграфу рекомендацию, позволявшую ему сразу же завязать знакомство с одним из ее управляющих, дочь которого привлекла его внимание во время пребывания в деревне, вроде того, как изголодавшийся человек променял бы бриллиант на краюху хлеба. Даже сознав свою оплошность, он смеялся над собой, ибо ему присуща была, искупаемая редкой утонченностью и деликатностью, некоторая доза грубоватости. Кроме того, он принадлежал к той категории умных людей, проживших в праздности, которые ищут утешения и, может быть, даже извинения в мысли, что эта праздность дает их уму объекты столь же достойные внимания, как и те, что могли бы дать им занятия искусствами или наукой, и что жизнь содержит в себе более интересные и более романические положения, чем все когда-либо написанные романы. Так, по крайней мере, уверял он и без труда убеждал в этом самых утонченных своих друзей из аристократического общества, особенно барона де Шарлюса, которого он любил забавлять рассказами о своих пикантных приключениях: то, встретившись в поезде с женщиной и увезя ее затем к себе, он внезапно обнаруживал, что она была сестрой государя, в руках которого сосредоточивались в тот момент все нити европейской политики, так что Сван оказывался в курсе этой политики весьма приятным для себя образом, то, в силу сложной игры обстоятельств, от предстоящего избрания папы на конклаве зависело, удастся ему или не удастся сделаться любовником одной кухарки.

Впрочем, не одну только блестящую фалангу добродетельных вдов, генералов, академиков, с которыми он был особенно близок, Сван так цинично заставлял играть роль сводников. Все его друзья привыкли получать время от времени письма, в которых просьба рекомендовать или познакомить его была выражена им с дипломатическим искусством; особенность эта, оставаясь неизменной во всех его последовательных увлечениях и при весьма различных обстоятельствах, выдавала явственнее, чем это сделали бы самые грубые его оплошности, некоторую устойчивую черту его характера и тождественность преследуемых им целей. Много лет спустя, начав интересоваться его характером вследствие обнаружившегося в нем сходства, в совсем других отношениях, с моим собственным, я часто просил рассказать мне о том, как дедушка (который не был еще в те времена дедушкой, потому что лишь приблизительно в год моего рождения началось большое «увлечение» Свана, надолго прервавшее описываемые здесь его приемы), взглянув на полученное письмо и узнав на конверте почерк своего друга, восклицал: «Эге, Сван обращается с какой-то просьбой: будем на страже!» И вследствие ли недоверия, или же благодаря бессознательному дьявольскому чувству, побуждающему нас предлагать вещь только тем людям, которые ее не желают, мои родные самым решительным образом отклоняли его просьбы, даже в тех случаях, когда удовлетворить их не стоило им никакого труда, например просьбу познакомить его с барышней, обедавшей у нас по воскресеньям; каждый раз, когда Сван заводил о ней речь, дедушка и бабушка делали вид, будто больше ее не встречают, между тем как всю неделю они ломали голову, кого бы им пригласить к обеду вместе с нею, причем часто так никого и не находили, совсем позабыв, что стоит им сделать Свану знак, и тот, ошастливленный, прилетит к ним.

Иногда какая-нибудь дружественная моим дедушке и бабушке супружеская чета, жаловавшаяся, что Сван совсем забыл ее, с удовлетворением и даже, может быть, с некоторым желанием возбудить зависть, сообщала, что он стал вдруг необычайно внимательным к ним, что он сама предупредительность, что он ни на минуту не покидает супругов. Дедушка не хотел омрачать их удовольствие, но бросал лукавый взгляд на бабушку и тихонько напевал:

Что здесь за тайна?
Мне никак не понять, —

или:

Мимолетное виденье... —

или:

В делах такого рода
Мне лучше быть слепым.

Если несколько месяцев спустя дедушка спрашивал нового друга Свана: «Как поживает Сван? По-прежнему вы часто видите с ним?» — лицо его собеседника вытягивалось: «Никогда не произносите его имени в моем присутствии!» — «А я думал, что вы большие друзья...» Он сделался, таким образом, завсегдатаем у двоюродного брата моей бабушки, обедая у него почти каждый день. Вдруг, без всякого предупреждения, он перестал появляться. Тот предположил, что он заболел, и хозяйка дома собиралась уже послать горничную осведомиться о его здоровье, но в это время она нашла в буфетной писанное его рукою письмо, по оплошности оставленное кухаркой в расходной книге. Там Сван сообщал кухарке, что уезжает из Парижа и не может больше бывать в доме ее хозяев. Кухарка была его любовницей, и в момент разрыва он счел необходимым уведомить об этом ее одну.

Но если его очередная любовница была, напротив, светской дамой или, по крайней мере, женщиной, чье происхождение было не настолько низкое и общественное положение не настолько шаткое, чтобы он не мог добиться для нее доступа в «свет», то ради нее он возвращался туда, но исключительно в ту орбиту, где двигалась она или куда он ее увлек. «Бесполезно рассчитывать на Свана сегодня вечером, — говорили его знакомые, — вы ведь знаете, по пятницам бывает в опере его американка». Он доставал для нее приглашения в наиболее труднодоступные салоны, в дома, куда сам он приходил еженедельно в определенные дни обедать или играть в покер; каждый вечер, слегка взбив свои жесткие рыжие волосы, что несколько смягчало живость взгляда его зеленых глаз, он выбирал цветок для бутоньерки и отправлялся на свидание со своей любовницей в доме одной из дам его круга; и тогда, наглядно представив себе восхищение и заверения в дружбе, которые великосветские франты, изо всех сил старавшиеся подражать ему и находившиеся в этот момент в гостиной, куда он шел, будут расточать ему в присутствии любимой им женщины, он вновь находил обаяние в суетной светской жизни, которую был пресыщен, но вещество которой, пронизанное и окрашенное в горячие тона введенным им в него ярко горевшим пламенем, казалось ему драгоценным и прекрасным после приобщения к нему его новой любви.

Но если каждая из этих связей или каждый из этих флиртов являлись более или менее полным осуществлением мечты, рожденной видом какого-нибудь лица или тела, которые Сван невольно, не делая над собой усилия, нашел очаровательными, то дело обстояло совсем иначе, когда раз в театре он был представлен Одетте де Креси одним старым своим другом, еще раньше говорившим ему о ней как о женщине премилой, с которой он в состоянии будет, может быть, кой-чего достигнуть, но изобразившим ее более недоступной, чем она была в действительности, чтобы преувеличить таким образом в глазах Свана размеры своей любезности. Конечно, она показалась Свану не лишенной красоты, но к типу ее красоты он был равнодушен, красота этого типа не пробуждала в нем никакого желания и даже, пожалуй, вызывала нечто вроде физического отвращения, — показалась женщиной из числа тех (у каждого из нас есть свой тип женщин, и у каждого он различен), что являются противоположностью типа, которого требуют наши чувства. Профиль ее был слишком резко очерчен, кожа слишком нежная, скулы слишком выдающиеся, черты лица слишком вытянутые, чтобы ему понравиться. Глаза Одетты были красивы, но так велики, что, казалось, изнемогали от собственной тяжести, утомляли ее лицо и всегда сообщали ей такой вид, точно она чувствовала себя нехорошо или была в дур-

ном настроении. Через несколько времени после этого знакомства в театре она прислала Свану письмо, в котором просила разрешить ей взглянуть на его коллекции, так интересующие ее, «невежественную женщину, питающую слабость к красивым вещам», говоря, что она лучше узнает его, когда увидит его «in his home»², где она представляла себе его «в уютной комнате, за чаем, с книгами», хотя и не могла скрыть своего удивления тем, что он жил в этом квартале, таком, должно быть, мрачном и «недостаточно smart³ для такого элегантного человека». И когда он пригласил ее к себе, она, прощаясь, выразила сожаление, что провела так мало времени в доме, куда она была счастлива войти, говорила о Сване как о человеке, бывшем для нее чем-то большим, чем другие ее знакомые, и как будто устанавливая между их личностями нечто вроде романтической связи, что вызвало на лице его улыбку. Но в возрасте, к которому приближался Сван, когда человек бывает уже несколько разочарован и умеет довольствоваться приятным чувством, доставляемым ему состоянием влюбленности, не предъявляя слишком больших требований по части ответного чувства, это сближение сердец пусть даже не является, как в пору ранней юности, целью, к которой необходимо стремится любовь, оно остается зато соединенным с любовью столь прочной ассоциацией, что может оказаться ее причиной, если имеет место в нашей жизни раньше любви. В годы молодости мы мечтали обладать сердцем женщины, в которую были влюблены; впоследствии чувства, что мы обладаем сердцем женщины, может оказаться достаточно, чтобы мы влюбились в нее. Таким образом, в возрасте, когда будет казаться, – так как мы ищем в любви главным образом субъективного наслаждения, – что любование женской красотой должно играть в ней преобладающую роль, любовь может родиться – любовь самая плотская – при полном отсутствии предваряющего ее желания. В эту пору жизни мы уже неоднократно бывали ранены стрелами любви; любовь не развивается уже одна, подчиняясь своим собственным непонятным и роковым законам, в нашем изумленном и пассивном сердце. Мы приходим ей на помощь; мы подделываем ее при помощи наших воспоминаний, при помощи внушения. Узнав один из ее симптомов, мы призываем, мы воссоздаем остальные. Так как гимн ее полностью запечатлен в наших сердцах, то вовсе не нужно, чтобы женщина начала петь его нам с самых первых слов – полных восхищения, внушаемого нам красотой, – мы и без этого вспомним его продолжение. Пусть даже она запоет его с середины – где говорится о сближении сердец, о том, что два существа живут лишь друг для друга, – мы достаточно усвоили эту музыку, чтобы сразу же подхватить ее и начать вторить нашей партнерше с того места, где она сделает паузу. Одетта де Креси вскоре снова посетила Свана, затем визиты ее стали повторяться часто; и, несомненно, каждый из них оживлял в нем чувство разочарования, испытываемого при виде этого лица, особенности которого он немного забывал в промежутке между встречами, так что оно вдруг поражало его своей выразительностью и блеклостью, несмотря на молодость его обладательницы; когда она разговаривала с ним, Сван жалел, что большая красота ее не принадлежала к тому типу, который невольно вызывал его восхищение. Нужно, впрочем, заметить, что лицо Одетты казалось ему более худым и более резко очерченным оттого, что лоб и верхняя часть щек, эти однородные и почти плоские поверхности, были закрыты прядями волос, которые женщины начесывали тогда на лоб, завивали и напускали локонами на уши; что же касается ее удивительно сложенной фигуры, то очень трудно было воссоздать ее в целом (по причине тогдашних мод, несмотря на то, что она была одной из наилучше одевавшихся в Париже женщин), – настолько выпячивавшийся дугой вперед, словно над воображаемым животом, и резко заканчивавшийся острым углом корсаж, под которым вздувался раструб двойных юбок, придавал женщине вид существа, составленного из разнородных, плохо прилаженных друг к другу кусков; настолько складочки, оборочки, вставочки, вполне независимо, подчиняясь лишь прихоти своего рисунка или плотности мате-

² Домашнем быту (англ.).

³ Изысканном, аристократическом (англ.).

риала, чертили линию, приводившую их то к бантикам, то к кружевным нашивкам, то к отвесно падавшей бахrome черного стекляруса, или же направлявшуюся вдоль планшеток корсета, но нигде не соприкасающуюся с живым существом, которое, смотря по тому, приближалась ли архитектура этих безделушек к формам его тела, или же, напротив, не соответствовала им, то задыхалось, то утопало в них.

Но когда Одетта покидала его, Сван с улыбкой думал о ее жалобах на то, что время будет тянуться для нее томительно до дня, когда он позволит ей снова прийти к нему; он вспоминал тревожный и робкий вид, с каким она однажды стала просить его, чтобы срок был не слишком долгий, вспоминал ее взгляд, устремленный на него с боязливой мольбой и делавший ее трогательной, в белой соломенной круглой шляпе, украшенной букетиком искусственных анютиных глазок и подвязанной под подбородком черными шелковыми лентами. «А разве вы, – сказала она ему, – не придете как-нибудь ко мне на чашку чаю?» Он сослался на неотложную работу, этюд – в действительности заброшенный им уж несколько лет тому назад – о Вермере Дельфтском. «Я понимаю, что я ни на что не способна, что я кажусь жалкой рядом с такими серьезными учеными людьми, как вы, – ответила она. – Я выглядела бы как лягушка перед ареопагом! И все же мне так хочется учиться, знать, быть посвященной. Как, должно быть, занятно рыться в старых книгах, совать нос в старые бумаги, – продолжала она с самодовольным видом элегантной женщины, утверждающей, будто она только и мечтает о том, как бы заняться, не боясь выпачкать свои пальцы, какой-нибудь грязной работой, вроде стряпни, „собственноручно замешивая тесто“. – Вы будете смеяться над моим вопросом, но скажите мне, пожалуйста, этот художник, который мешает вам приехать ко мне (она имела в виду Вермера), я никогда даже не слыхала о нем, жив он еще? Можно ли видеть какие-нибудь его картины в Париже? Я хочу составить себе представление о том, что вы любите, отгадать, что скрывается под этим высоким лбом, который столько работает, в этой голове, вечно размышляющей о глубоких вопросах, хочу иметь возможность сказать: вот о чем он думает! Какое счастье было бы помогать вам в ваших работах!» В качестве извинения он сослался на свой страх завести новую дружбу, который он галантно назвал страхом несчастной любви. «Вы страшитесь любви? Как мне забавно слышать это: ведь я только и ищу, что любви, я отдала бы жизнь, если бы мне удалось найти ее, – сказала она таким естественным и убежденным тоном, что Сван был искренно тронут. – Вам, должно быть, пришлось страдать от какой-нибудь женщины. И вы решили, что все другие такие же, как она. Она была не способна вас понять: вы так непохожи на других мужчин. Это как раз и понравилось мне в вас с самого начала; я сразу же почувствовала, что вы не такой, как все». – «Да и вы ведь сами тоже, – перебил он ее, – я хорошо знаю, что такое женщины; у вас, должно быть, куча дела, нет ни минуты свободной». – «Я? Что вы? Мне решительно нечего делать; я всегда свободна и всегда буду свободна для вас. Если бы вам захотелось увидеть меня, пошлите за мной в любой час дня или ночи, и я буду счастлива примчаться к вам. Сделаете вы так? Вы были бы очень милы, если бы согласились исполнить одно мое желание: позволили мне представить вас г-же Вердюрен, к которой я хожу каждый вечер. Как это было бы хорошо! Я встречала бы вас там и думала бы, что немножко ради меня вы туда пришли».

И, несомненно, вспоминая таким образом разговоры с нею, думая о ней в одиночестве, Сван лишь помещал, в романических мечтах своих, ее образ среди бесчисленных других женских образов, но если бы, благодаря какому-нибудь случайному обстоятельству (или даже, может быть, без его помощи, и обстоятельство, представившееся в момент, когда скрытое до той поры состояние дает себя почувствовать, может вовсе не оказать на него влияния), образ Одетты де Креси всецело поглотил его мечты, если бы воспоминание о ней стало неотделимым от этих мечтаний, то ее физические несовершенства утратили бы всякое значение, как утратило бы значение и большее или меньшее соответствие ее тела, по сравнению с каким-

либо другим телом, вкусу Свана: ибо, став телом любимой женщины, отныне оно одно было бы способно причинять ему радости и терзания.

Случилось так, что мой дедушка хорошо знал – чего нельзя было бы сказать ни о ком из их теперешних знакомых – семью этих Вердюренгов. Но он давно уже прервал всякие сношения с тем, кого он называл «молодым Вердюреном», считая его (благодаря слишком грубому обобщению получаемых о нем сведений) человеком, окончательно погружившимся в мир богемы и разного сброда, хотя и сохранившим при этом свои миллионы. Однажды он получил письмо от Свана, в котором тот спрашивал дедушку, не может ли он познакомить его с Вердюренгами. «Будем на страже! Будем на страже! – воскликнул дедушка. – Это ничуть не удивляет меня; именно так должен был кончить Сван. Хорошенькое общество! Я не могу исполнить его просьбу прежде всего потому, что я не знаком больше с этим господином. Кроме того, тут, вероятно, замешана женщина, а я предпочитаю держаться в стороне от таких дел. Да, занятное у нас будет развлечение, если Сван станет бегать к маленьким Вердюренгам!»

После отрицательного ответа дедушки сама Одетта ввела Свана к Вердюренгам.

В день первого появления Свана на обеде у Вердюренгов были: доктор Котар с супругой, молодой пианист с теткой и художник, пользовавшийся тогда их благосклонностью; вечером к этим лицам присоединилось еще несколько «верных».

Доктор Котар никогда не был уверен, каким тоном следует отвечать собеседнику, никогда не знал в точности, шутит ли тот или говорит серьезно. Поэтому на всякий случай он сопровождал выражение своего лица предупредительной условной улыбкой, выжидательная утонченность которой освобождала бы его от упрека в наивности, если бы оказалось, что обращенное к нему замечание носит шуточный характер. Но поскольку он должен был считаться также и с противоположной возможностью, то не решался позволить этой улыбке отчетливо утвердиться на своем лице, так что на нем вечно блуждала неуверенность, в которой можно было прочесть вопрос (он не осмеливался задавать его открыто): «Вы действительно так думаете?» Не больше уверенности было у него относительно того, как ему следует держаться на улице и даже вообще в жизни; часто можно было видеть, как он встречает прохожих, экипажи, происшествия с лукавой улыбкой, которая освобождала его от всякого упрека в неуклюжести, так как доказывала, если поведение его было не соответствовавшим обстановке, что он прекрасно сознает это и совершил смешной поступок исключительно ради шутки.

Во всех тех случаях, однако, когда откровенный вопрос казался ему позволительным, доктор усердно старался ограничить поле своих сомнений и пополнить свое образование.

Вот почему, следуя совету, который дан был ему предусмотрительной матерью, когда он покидал свою провинцию, Котар никогда не пропускал неизвестного ему выражения или собственного имени, не постаравшись собрать о них самые точные справки.

Что касается образных выражений, то он был ненасытен по части должного осведомления, часто предполагая в них более определенный смысл, чем они имеют в действительности; он хотел бы знать, что, собственно, означают те из них, которые ему приходилось слышать чаще всего: «дьявольская красота», «голубая кровь», «жизнь кота с собакой», «четверть часа Рабле», «законодатель вкуса», «дать *carte blanche*», «быть поставленным в тупик» и т. п.; и в каких определенных случаях он сам мог бы употреблять их в своем разговоре. За неимением их он уснащал свою речь зазубренными примерами игры слов. Что касается произносимых в его присутствии имен неизвестных ему лиц, то он ограничивался тем, что повторял их вопросительным тоном, считая, что этого достаточно для получения разъяснений, которых он не спрашивал открыто.

Так как, несмотря на свое убеждение, что он ко всему относится критически, Котар в действительности был вовсе лишен критических способностей, то утонченная вежливость, заключающаяся в том, что, делая кому-нибудь одолжение, мы уверяем (нисколько не желая, чтобы этому поверили), что, напротив, нам сделано одолжение, – вежливость этого рода была пропа-

щим делом по отношению к Котару, ибо каждое услышанное слово он понимал в буквальном смысле. Как ни было велико ослепление г-жи Вердюрен доктором Котаром, она все же, по-прежнему продолжая находить его человеком изысканно-тонким, в заключение стала раздражаться, когда, пригласив его в литературную ложу посмотреть Сару Бернар и для большей любезности обратившись к нему: «Вы очень милы, доктор, что пришли, тем более что, я уверена, вы уже много раз видели Сару Бернар; к тому же мы, пожалуй, слишком близко от сцены», – она слышала от доктора Котара, входившего в ложу с улыбкой, ожидавшей, чтобы обозначиться с большей определенностью или исчезнуть, чьего-нибудь авторитетного осведомления относительно важности спектакля, следующий ответ: «В самом деле, мы находимся слишком близко от сцены, и Сара Бернар начинает уже утомлять. Но вы выразили желание, чтобы я пришел. Ваши желания для меня приказы. Я бесконечно рад оказать вам эту маленькую услугу. Чего только я не сделал бы для доставления вам удовольствия, вы так добры. – И он продолжал: – Сара Бернар, – ее называют Золотым Голосом, не правда ли? Часто пишут также, что под ней пол горит. Странное выражение, не правда ли?» – в надежде услышать комментарии, но их не последовало.

«Знаешь ли, – сказала г-жа Вердюрен мужу, – мне кажется, мы совершаем ложный шаг, обесценивая из скромности то, что мы предлагаем доктору, это – ученый, витающий за пределами практической жизни; он ничего не смыслит в ценности вещей и свято принимает на веру все, что мы ему говорим». – «Я не решался сказать тебе, но и я это заметил», – отвечал г-н Вердюрен. И в день ближайшего Нового года, вместо поднесения доктору Котару рубина в три тысячи франков, словно ничего не стоящей безделушки, г-н Вердюрен купил за триста франков искусственный камень и, даря его доктору, дал понять, что вряд ли можно найти другой столь же красивый бриллиант.

Когда г-жа Вердюрен объявила, что на вечере будет г-н Сван. «Сван?» – воскликнул доктор грубым от изумления тоном, потому что малейшая новость захватывала врасплох этого человека, всегда считавшего себя подготовленным ко всякой неожиданности. И, видя, что никто не отвечает ему: «Сван? Кто такой этот Сван?» – чуть ли не проревел он вне себя от беспокойства, которое тотчас утихло, когда г-жа Вердюрен объяснила: «Неужели вы не знаете? Это друг Одетты, о котором она говорила нам». – «Ах, да, верно, верно; прекрасно!» – проговорил сразу успокоившийся доктор. Что касается художника, то тот был в восторге от ожидаемого появления Свана у г-жи Вердюрен, так как, по его предположениям, Сван был влюблен в Одетту, а он охотно покровительствовал любовным связям. «Ничто так не забавляет меня, как устройство свадеб, – признался он на ушко доктору Котару, – мне очень везло в этом отношении, даже у женщин!»

Характеризуя Свана Вердюренам как «smart», Одетта встревожила их: они испугались, как бы он не оказался «скучным». Однако он произвел на них отличное впечатление, одной из косвенных причин чего, хотя они этого не сознавали, были привычки, усвоенные им во время частых посещений эlegantного общества. В самом деле, он обладал одним преимуществом над людьми, даже высоко культурными и умными, но никогда не посещавшими аристократических салонов, – преимуществом человека, который вращался в «свете» и поэтому не преобращает его симпатией или антипатией, но рассматривает как явление, лишённое всякого значения. Любезность такого человека, вполне свободная от всякой примеси снобизма и от страха показаться чрезмерной, ставшая действительно независимой, обладает той непринужденностью и грацией движений, которой отличаются гимнасты, выполняющие гибкими своими членами как раз то, что они хотят, без ненужного и неуклюжего участия остального тела. Простые и элементарные движения светского человека, учтиво подающего руку незнакомому юноше, которого представляют ему, и сдержанно кланяющегося послу, которому его представляют, мало-помалу, совершенно бессознательно, вошли в плоть и кровь Свана, так что, очутившись среди людей низшего общественного положения, каковыми были Вердюрены и их друзья, он

инстинктивно выказал внимание и предупредительность, совершил шаги, от которых, по их мнению, «скучный» воздержался бы. Некоторую холодность он проявил лишь по отношению к доктору Котару: увидя, как тот подмигивает ему и двусмысленно улыбается, еще прежде, чем они успели обменяться приветственными словами (Котар называл эту гримасу «добро пожаловать»), Сван подумал, что доктор узнал его, вероятно, по встрече в каком-нибудь увеселительном заведении, хотя он посещал эти места очень редко, так как не любил обращаться к услугам продажных женщин. Находя подобный намек свидетельством дурного вкуса, особенно в присутствии Одетты, у которой могло сложиться дурное представление о нем, он напустил на себя ледяной вид. Но когда он узнал, что дама, сидевшая рядом с доктором, была госпожа Котар, то решил, что такой юный еще муж не стал бы намекать в присутствии жены на развлечения этого рода, и перестал истолковывать мимику доктора в неприятном для себя смысле. Художник сразу же пригласил Свана посетить вместе с Одеттой его ателье, и Сван нашел его очень милым. «Может быть, вы удостоитесь большей благосклонности, чем я, – сказала г-жа Вердюрен притворно обиженным тоном, – и вам будет показан портрет Котара, – (заказанный г-жою Вердюрен художнику). – Постарайтесь же хорошенько, мэтр Биш, – напомнила она художнику, которого давно уже все в шутку называли «мэтром», – передать это красивое выражение его глаз, эту плутовскую искорку в них. Вы ведь знаете, что больше всего мне хочется иметь его улыбку; я просила вас написать портрет его улыбки». И так как эта фраза показалась ей замечательной, то она еще раз громко повторила ее для большей уверенности в том, что она будет услышана всеми присутствующими; предварительно она нашла даже какой-то предлог теснее сомкнуть кружок своих гостей.

Сван попросил познакомить его со всеми гостями, даже с одним старым другом Вердюренов, Саньетом, который, благодаря своей робости, простодушию и доброте, повсюду лишился уважения, несмотря на то, что его познания в области палеографии, большое состояние и хорошее происхождение давали ему полное право на это уважение. Когда он говорил, во рту у него была каша, но слушать его было приятно, так как чувствовалось, что она является не столько недостатком речи, сколько душевным качеством, чем-то вроде остатка детской невинности, которую он сохранил во всей неприкосновенности. Не произносимые им согласные казались похожими на грубости, которых он не способен был совершить. Прося представить его г-ну Саньету, Сван заставил г-жу Вердюрен нарушить установившийся в доме порядок (так что в ответ та сказала ему, подчеркивая разницу: «Г-н Сван, благоволите разрешить мне представить вам нашего друга Саньета»), но вызвал у Саньета горячую признательность, о чем, впрочем, Вердюрены никогда не сообщили Свану, так как Саньет их немного раздражал и они не поощряли дружеских отношений между ним и их гостями. Но зато Сван чрезвычайно тронул их, сочтя своей обязанностью попросить, чтобы его познакомили вслед за Саньетом с теткой пианиста. Одетта она была, как всегда, в черное платье, так как считала, что черный цвет всегда к лицу и одеваться в черное – верх изысканности; зато лицо у нее было багровое, как всегда после еды. Она почтительно поклонилась Свану, но затем снова величественно выпрямилась. Так как она была женщина совсем необразованная и боялась наделать ошибок по части грамматики и произношения, то нарочно произносила слова невнятно, думая, что если совершит какую-нибудь оплошность, то она растворится в окружающих звуках и слушатели не в состоянии будут с уверенностью различить ее; в результате ее речь превращалась в какое-то сплошное отхаркивание, откуда изредка всплывали звуки и слоги, в которых она чувствовала себя уверенной. Сван подумал, что он вправе немножко подшутить над ней в разговоре с г-ном Вердюреном, но тот, напротив, был этим задет.

– Это превосходная женщина! – ответил он. – Я согласен с вами: она не ослепляет; но, уверяю вас, она бывает обаятельна, когда разговариваешь с нею один на один.

– Не сомневаюсь в этом, – поспешил успокоить его Сван. – Я хотел сказать только, что она не показалась мне «выдающейся», – прибавил он, как бы ставя этот эпитет в кавычки, – и, в общем, это скорее комплимент!

– Погодите-ка, – сказал Вердюрен, – сейчас я изумлю вас, она пишет очаровательно. Вы никогда не слышали ее племянника? Восхитительно, не правда ли, доктор? Желаете, я попрошу его сыграть что-нибудь, господин Сван?

– Было бы счастьем... – начал было Сван несколько выпрепленным тоном, но тут доктор с насмешливым видом перебил его. Где-то он слышал и запомнил, что употребление в разговоре напыщенных фраз и торжественных выражений является теперь старомодным; с тех пор, когда ему приходилось слышать какое-нибудь значительное слово, произнесенное серьезным тоном, вроде сказанного сейчас Сваном слова «счастье», он сразу же заключал, что человек, употребляющий в разговоре такие слова, тем самым выдает свою ограниченность и педантизм. И если вдобавок подобное слово входило случайно в то, что он называл избитым клише, то, как бы ни являлось оно употребительным, доктор сразу решал, что начинавшаяся им фраза была шуточной, и иронически заканчивал ее каким-нибудь шаблонным изречением, как бы приписывая своему собеседнику намерение произнести его в этом месте, тогда как тот вовсе не имел подобного намерения.

– Счастьем для Франции! – насмешливо воскликнул он, патетически воздев руки кверху.

Г-н Вердюрен не мог удержаться от смеха.

– Над чем это смеются там эти проказники? Да, в вашем уютном уголке вы не томитесь от скуки, – воскликнула г-жа Вердюрен. – Неужели вы думаете, что мне очень весело оставаться одной, точно сидя на покаянии? – промолвила она капризно-недовольным тоном, словно обиженный ребенок.

Г-жа Вердюрен сидела на высоком шведском стуле из вошеной сосны, подаренном ей одним шведским скрипачом; несмотря на то, что формой своей стул этот напоминал табурет и совсем не подходил к красивой старинной мебели, стоявшей в гостиной, она держала его на видном месте, так как считала своим долгом выставлять напоказ подарки, время от времени обыкновенно подносимые ей «верными», так, чтобы дарители при виде их могли испытать удовольствие, когда приходили к ней в гости. Она всячески старалась убедить их ограничиваться цветами и конфетами, которые, по крайней мере, обладают тем преимуществом, что их сокрушает время; но ее убеждения не имели успеха, и мало-помалу в ее доме образовалась целая коллекция грелок, подушечек, настенных часов, ширм, барометров, вазочек, – утомительно однообразных и не гармонировавших между собою бесполезных, но несокрушимых вещей.

Со своего возвышенного пункта г-жа Вердюрен принимала самое живое участие в разговоре «верных» и упивалась их «выходками», но после несчастного случая с челюстью отказалась принимать чересчур деятельное участие в общем веселье, заменив его условной мимикой, без утомления и риска для нее обозначавшей, что она хохочет до слез. При малейшем словечке, отпущенном кем-либо из завсегдатаев по адресу человека «скучного» или одного из бывших завсегдатаев, ныне изгнанного в общество «скучных», – и к вящему прискорбию г-на Вердюрена, который давно уже имел поползновение быть столь же любезным, как и жена, но, смеясь всерьез, очень быстро истощал свои силы, так что всегда бывал превзойден и побежден хитрой уловкой г-жи Вердюрен, заливавшейся притворным, но непрерывным хохотом, – она пронзительно взвизгивала, плотно зажмуривала свои птичьи глазки, которые начинало заволакивать бельмо, и поспешно, как если бы она закрывалась от какого-нибудь непристойного зрелища или отражала смертельный удар, пряча лицо в своих руках, совершенно загораживавших его от посторонних взоров и не позволявших никому видеть его выражения, притворялась, будто изо всех сил старается сдержать, подавить приступ смеха, который, дай она ему волю, довел бы ее до обморока. Так, одуревшая от смешных выходок «верных», опьяненная

панибратством, злословием и всеобщим одобрением, г-жа Вердюрен подобно птице, сухарики которой смочили глинтвейном, клохтала на своем насесте от избытка дружеских чувств.

Тем временем г-н Вердюрен, попросив у Свана разрешения закурить трубку («у нас без церемоний, отношения товарищеские»), просил молодого пианиста сесть за рояль.

– Оставь его в покое, не надоедай ему, он пришел сюда не для того, чтобы его мучили, – вскричала г-жа Вердюрен, – я не хочу, чтобы его мучили, слышишь?

– Но откуда ты взяла, что мы собираемся его мучить? – сказал в ответ г-н Вердюрен. – Я уверен, что г-н Сван никогда не слышал открытой нами сонаты в фа-диез; он сыграет нам ее в аранжировке для рояля.

– Ах, нет, нет, ради бога, не надо моей сонаты, – застонала г-жа Вердюрен, – я вовсе не желаю, чтобы меня заставили реветь до насморка и лицевой невралгии, как это случилось последний раз; премного вам благодарна, я вовсе не хочу, чтобы у меня повторилась вся эта музыка; вам, конечно, полгоря; видно, что никому из вас не придется неделю лежать в постели!

Эта маленькая сцена, возобновлявшаяся каждый раз, когда пианист собирался сесть за рояль, неизменно приводила в восторг друзей, словно они видели ее впервые; она как бы являлась доказательством пленительной оригинальности «хозяйки» и ее крайней музыкальной чувствительности. Сидевшие поблизости от нее делали знак курившим или игравшим в карты в другом конце комнаты подойти поближе, кричали: «Слушайте, слушайте!» – как это принято во время парламентских прений в моменты, когда оратор произносит вещи, заслуживающие внимания. И на другой день гости жалели тех, кто не мог быть накануне у Вердюренов, уверяя их, что сцена была забавнее, чем когда-либо.

– Ладно; решено, – заявил г-н Вердюрен, – он сыграет только *andante*.

– Только *andante*, вот тоже сказал! – воскликнула г-жа Вердюрен. – Ведь именно *andante* разбивает меня всю. Наш хозяин поистине бесподобен. Это все равно, как если бы по поводу «Девятой» он сказал: мы услышим только финал или только увертюру «Мейстерзингеров»!

Однако доктор стал упрашивать г-жу Вердюрен разрешить пианисту поиграть не потому, что считал притворными ее жалобы на болезненное действие, оказываемое на нее музыкой, – он признавал существование некоторых неврастенических состояний, – но в силу свойственной многим врачам привычки сразу смягчать строгость своих предписаний, как только подвергается опасности, – вещь, представляющаяся им гораздо более важной, чем здоровье пациентов, – успех светского собрания, где они участвуют и где руководящую роль играет лицо, которому они советуют забыть на один вечер о своем пищеварении или о своем гриппе.

– На этот раз вы не будете больны, вот увидите, – сказал он, стараясь одновременно загипнотизировать ее взглядом. – А если заболете, мы вас вылечим.

– Правда? – ответила г-жа Вердюрен таким тоном, как если бы, в надежде на столь великие милости, ей не оставалось ничего другого, как только сдаться. А может быть также, заявив о пугавшей ее перспективе стать больной, она привела себя в такое состояние, в котором перестала сознавать, что разыгрывает маленькую комедию, и совершенно искренно стала смотреть на вещи с точки зрения больной. В самом деле, часто можно наблюдать, как больные, утомленные необходимостью вечно держать в зависимости от своего благоразумия количество и остроту припадков своей болезни, охотно отдаются во власть мысли, что они могут безнаказанно делать все, что им нравится (и за что они обыкновенно платятся впоследствии обострением страданий), если только вверят себя попечению некоего могущественного существа, которое, не требуя никакого усилия с их стороны, способно будет одним своим словом или какими-нибудь пилюлями снова поставить их на ноги.

Одетта направилась к ковровому дивану, стоявшему возле рояля.

– Я сяду на свое уютное местечко, – сказала она г-же Вердюрен.

Последняя, увидя, что Сван сидит на стуле, заставила его встать:

– Вам там неудобно; садитесь рядом с Одеттой; вы ведь дадите, Одетта, местечко подле себя г-ну Свану?

– Какой прелестный бовэ! – сказал Сван, любуясь диваном, перед тем как сесть на него; он желал быть любезным.

– Я очень довольна, что вы оценили по достоинству мой диван, – отвечала г-жа Вердюрен. – И я предупреждаю вас, что если вы рассчитываете увидеть когда-нибудь другой диван такого же качества, то вы должны отказаться от этой надежды. Никогда не было сделано ничего похожего! Эти стулья тоже чудеса искусства. Потом вы внимательнее их осмотрите. Каждое бронзовое украшение соответствует сюжету, изображенному на сиденье стула; вместе с привлечением вы почерпнете также поучение, если соблаговолите все это рассмотреть: вы будете в восторге, ручаюсь вам. Взгляните на этот бордюрик по краям, вот здесь, этот виноград на красном фоне в соответствии с рисунком «Медведь и виноград». Каков рисунок! Что вы скажете по этому поводу? Да, я думаю, они понимали толк в рисованье! Разве у вас не текут слюнки при виде этого винограда? Мой муж заявляет, будто я не люблю фруктов, потому что ем их меньше, чем он. Неправда, я бóльшая лакомка, чем все вы, но я не ощущаю потребности класть их в рот, раз я могу пожирать их глазами. Что это все вы смеетесь? Спросите доктора, – он скажет вам, что эти гроздья действуют на меня как настоящее слабительное. Иные ездят лечиться в Фонтенебло, я же прохожу свой маленький курс в Бовэ. Вы непременно должны будете потрогать эти бронзовые украшения на спинках, г-н Сван. Какая гладкая поверхность, разве можно подумать, что это металл? Нет, нет, не всей рукой, а вот так!

– Ну, если г-жа Вердюрен начала заниматься бронзой, так нам не придется услышать музыки сегодня вечером, – сказал художник.

– Замолчите, грубиян! В сущности, – сказала она, обращаясь к Свану, – нам, бедным женщинам, запрещены наслаждения гораздо менее соблазнительные, чем эти. Ни одно тело в мире не сравнится по нежности с этой бронзой. Ни одно! Когда г-н Вердюрен удостоивал меня чести, устраивая мне сцены ревности... послушай, будь, по крайней мере, вежлив; не говори, что ты никогда не устраивал мне...

– Но, дорогая, я не произнес решительно ни одного слова. Доктор, я беру вас в свидетели: разве я сказал хотя бы слово?

Сван из вежливости ощупывал бронзу и не решался прекратить это занятие.

– Вот что, вы поласкаете ее потом; теперь же вас самих будут ласкать, будут ласкать ваш слух; я думаю, вы любите такую ласку. Вот молодой человек, который займется этим приятным делом.

Когда пианист сыграл, Сван проявил к нему еще больше любезности, чем к другим гостям Вердюренов, по следующей причине.

В прошлом году, на одном вечере, он слышал музыкальное произведение, исполненное на рояле и скрипке. Сначала он воспринимал лишь материальное качество звуков, издаваемых инструментами. Большим наслаждением было уже и то, что под узкой ленточкой скрипичной партии, тоненькой, прочной, плотной и управлявшей движением звуков, он вдруг услышал пытавшуюся подняться кверху, в бурных всплесках, звуковую массу партии для рояля, бесформенную, нерасчлененную, однородную, повсюду сталкивавшуюся с мелодией, словно волнующаяся лиловая поверхность моря, околдованная и бемолизованная сиянием луны. Но в определенный момент, не будучи способен отчетливо различить какое-либо очертание, дать точное название тому, что нравилось ему, внезапно очарованный, он попытался запечатлеть в памяти фразу или гармонию, – он сам не знал что, – которая только что была сыграна и как-то шире раскрыла его душу, вроде того как носящийся во влажном вечернем воздухе аромат некоторых роз обладает способностью расширять наши ноздри. Быть может, незнание им музыки было причиной того, что он мог испытать столь смутное впечатление, из числа тех, которые одни только, может быть, тем не менее являются впечатлениями чисто музыкальными,

не протяженными, насквозь оригинальными, несводимыми ни к каким другим впечатлениям. Впечатление этого рода в течение краткого мгновения пребывает, так сказать, *sine materia*. Разумеется, ноты, которые мы слышим в такие мгновения, стремятся растянуться соответственно высоте своей и длине, покрыть перед нашими глазами поверхности, большего или меньшего размера, начертать причудливые арабески, дать нам ощущение ширины или тонины, устойчивости или прихотливости. Но ноты исчезли прежде, чем эти ощущения успели принять достаточно определенную форму, так, чтобы не потонуть в ощущениях, уже пробуждаемых в нас нотами последующими или даже одновременными. И эта неотчетливость продолжала бы обволакивать своей расплывчатостью и своей текучестью едва уловимые мотивы, по временам всплывающие из нее и тотчас вновь тонущие, исчезающие, распознаваемые только по своеобразному удовольствию, которое они дают, не поддающиеся описанию, воспроизведению, наименованию, несказанные, – если бы память, словно рабочий, трудящийся над возведением прочных устоев среди бушующих волн, не позволяла нам, изготовляя отпечатки этих мимолетных фраз, сравнивать их с последующими фразами и отличать от них. Вот почему, едва только сладостное ощущение, испытанное Сваном, угасало, как память уже снабжала его копией услышанной фразы, правда, упрощенной и несовершенной, но все же предстоявшей его взору в то время, как игра продолжалась, так что, когда прежнее впечатление вдруг возвращалось, оно не было больше неуловимым. Сван представлял себе его протяжение, симметричное построение, его начертание, степень его выразительности; перед ним была вещь, являвшаяся уже не чистой музыкой, но, скорее, рисунком, архитектурой, мыслью, и лишь позволявшая припоминать подлинную музыку. На этот раз он отчетливо различил фразу, вынырнувшую на несколько мгновений из звуковых волн. Она сразу же наполнила его своеобразным наслаждением, о котором, до того как услышать ее, он не имел никакого понятия, с которым, он чувствовал, ничто другое, кроме этой фразы, не могло бы познакомить его, и он ощутил к ней какую-то неведомую ему раньше любовь.

Медленным ритмическим темпом она вела его, сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми, к какому-то счастью – благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, непрерывным и сладостно-нежным, стала увлекать его к каким-то безбрежным неведомым далям. Потом она исчезла. Он страстно пожелал вновь услышать ее в третий раз. И она действительно появилась, но язык ее не сделался более понятным, и даже доставленное ею наслаждение было на этот раз менее глубоким. Но, возвратившись домой, Сван почувствовал потребность в ней, подобно мужчине, в жизнь которого мельком замеченная им на улице прохожая внесла образ новой красоты, обогативший его внутренний мир, хотя он не знает даже, удастся ли ему когда-нибудь вновь увидеть ту, кого он уже любит, но в ком все, вплоть до имени, ему неизвестно.

Эта вдруг вспыхнувшая у Свана любовь к музыкальной фразе одно время, казалось, способна была даже внести в его жизнь своего рода помолодение. Он так давно уже перестал стремиться к каким-либо идеальным целям и ограничивался лишь погоней за минутными удовольствиями, что считал уже, никогда, впрочем, не утверждая категорически, даже самому себе, что так будет продолжаться до самой его смерти. Мало этого: не ощущая больше в уме своем возвышенных идей, он перестал верить в их реальность, хотя и не мог бы безусловно отрицать ее. В результате он усвоил привычку искать прибежище в плоских мыслях, позволявших ему оставлять в стороне темы существенные. Подобно тому, как он никогда не спрашивал себя, не лучше ли ему перестать посещать салоны, но зато хорошо знал, что если им принято приглашение, то он должен показаться там, куда его пригласили, и что потом он должен либо делать визиты в этот дом, либо, по крайней мере, завозить туда свои карточки, – так и в разговоре он всячески избегал с одушевлением высказывать свое личное мнение о вещах, взамен чего

сообщал множество фактических подробностей, обладавших до известной степени самостоятельной ценностью и позволявших ему не раскрывать собственных взглядов. Он бывал изумительно точен, сообщая кулинарный рецепт, дату рождения или смерти знаменитого художника, название его произведений. Впрочем, иногда, вопреки обыкновению, он позволял себе высказывать критическое суждение по поводу какого-нибудь художественного произведения или чьей-либо точки зрения на жизнь, но в таких случаях придавал своим словам иронический тон, как если бы не вполне соглашался с тем, что говорил. Но теперь – подобно определенной категории болезненных людей, у которых перемена места и обстановки, иной режим и иногда даже самопроизвольные и таинственные органические процессы вдруг как будто приводят к такому облегчению болезни, что они начинают серьезно считаться с возможностью, до той поры совершенно безнадежной, зажить на старости новой жизнью, в корне отличной от жизни прежней, – Сван находил в себе, вспоминая пленившую его фразу или же слушая другие сонаты, которые он просил играть ему в надежде открыть в них эту фразу, присутствие одной из тех невидимых реальностей, в которые он перестал верить и которым, как если бы музыка произвела на его давно уже бесплодную душу некоторое живительное действие, он снова чувствовал желание и почти силу посвятить свою жизнь. Но так как, несмотря на все старания, ему не удалось узнать, кто был автор слышанного им произведения, то он не мог приобрести его и в конце концов совсем позабыл о нем. Правда, в ближайшие дни он встретился с несколькими присутствовавшими вместе с ним на вечере лицами и спросил их о заинтересовавшей его сонате; но большинство этих людей либо приехало по окончании музыки, либо уехало до ее начала; некоторые, впрочем, были и во время исполнения, но сидели в другой комнате и разговаривали, да и те, что слушали, сохранили столь же смутное впечатление, как и прочие. Что же касается хозяев дома, то они знали лишь, что это было какое-то новое произведение, которое просили разрешения исполнить приглашенные ими артисты; так как эти артисты отправились вскоре после вечера в турне, то Сван так и не узнал ничего больше. У него были, правда, друзья музыканты, но, как ни живо мог он вспомнить своеобразное и непередаваемое наслаждение, доставленное ему фразой, как ни отчетливо представал его взорам нарисованный ею узор, он, однако, был совершенно не способен пропеть им ее. Через некоторое время Сван перестал о ней думать.

Но в этот вечер у г-жи Вердюрен, едва только юный пианист взял несколько аккордов и протянул в течение двух тактов одну высокую ноту, Сван вдруг увидел, как из-за длительного звучания, протянутого, словно звуковой занавес, чтобы скрыть тайну ее рождения, появляется сокровенная, рокочущая и расчлененная фраза, – Сван узнал эту пленившую его воздушную и благоуханную фразу. Она была так своеобразна, она содержала в себе столь индивидуальную прелесть, которую ничто не могло бы заменить, что Свану показалось, будто он встретил в гостиной у друзей женщину, однажды замеченную им на улице и пленившую его, женщину, которую он отчаялся увидеть когда-нибудь вновь. Наконец фраза – руководящая, бдительная – удалась, затерялась в струях расточенного ею благоухания, оставив на лице Свана отблеск своей улыбки. Но теперь он мог узнать имя своей незнакомки (ему сказали, что это *andante* из сонаты Венейля для рояля и скрипки), он владел ею, мог снова иметь ее у себя всякий раз, когда пожелает, мог попытаться изучить ее язык и отгадать ее тайну.

Вот почему, когда пианист окончил, Сван подошел к нему и в очень горячих словах выразил ему свою признательность, что очень понравилось г-же Вердюрен.

– Какой волшебник, не правда ли, – обратилась она к Свану, – ведь хорошо чувствует свою сонату, негодяй? Предполагали ли вы, что на рояле можно достигнуть такой выразительности? Здесь было все, кроме рояля, честное слово! Каждый раз я попадаюсь; мне кажется, что я слышу оркестр. Это даже лучше оркестра, полнозвучнее.

Юный пианист поклонился и, с улыбкой подчеркивая слова, как если бы он сочинил остроумие, сказал:

– Вы очень снисходительны ко мне.

И в то время как г-жа Вердюрен говорила мужу: «Принеси ему скорее стакан оранжада; он вполне заслужил его», – Сван рассказывал Одетте, как он влюбился в эту короткую фразу. Когда г-жа Вердюрен, сидевшая поодаль, сказала: «Вам, кажется, говорят очень милые вещи, Одетта?» – та ответила: «Да, очень милые», – и Сван нашел ее скромность очаровательной. Затем он стал расспрашивать о Вентейле, о его других произведениях, о времени, когда написана им эта соната, о том, что могла означать для него пленившая Свана фраза, – это значение больше всего хотелось бы знать Свану.

Но никто из присутствовавших, кичившихся своим преклонением перед этим композитором (когда Сван сказал, что его соната поистине прекрасна, г-жа Вердюрен воскликнула: «Вы совершенно правы: она прекрасна! Никто не смеет не знать Вентейля, никто не вправе не знать ее», а художник прибавил: «О, это грандиозная штука, не правда ли? Это, если угодно, не есть вещь „приятная“ и „общедоступная“, не правда ли, но она производит огромное впечатление на художников»), никто из присутствовавших никогда, казалось, не задавался этими вопросами, потому что никто из них не был способен ответить на них.

Даже на одно или два замечания Свана, сделанные им специально по поводу пленившей его фразы, – «Знаете, ведь это забавно, я никогда не обращала на нее внимания; должна сказать вам, что я не люблю рассматривать букашек под микроскопом и исследовать разные тонкости; мы не теряем здесь времени на оцепенение комаров, такое занятие не в привычках нашего дома», – ответила г-жа Вердюрен, на которую доктор Котар взирал в блаженном восторге, от души, завидуя той легкости, с которой она переносилась от одного образного выражения к другому. Впрочем, и он, и г-жа Котар с достаточным благоразумием, присущим многим людям низкого происхождения, всячески остерегались высказывать свое мнение или притворно восхищаться музыкальным произведением, которое, как они чистосердечно признавались друг другу по возвращении домой, было для них так же малопонятно, как и живопись «мэтра» Биша. Подобно всей вообще «широкой публике», умеющей разглядеть прелесть, красоту и даже внешние формы явлений природы лишь поскольку они были медленно усвоены ею при помощи изучения посредственных и банальных произведений искусства, между тем как оригинальный художник начинает с отбрасывания этих шаблонов, г-н и г-жа Котар, типичные представители этой публики, не находили ни в сонате Вентейля, ни в портретах Биша того, чем являлась для них гармоничность в музыке и красота в живописи. Когда пианист играл сонату, то им казалось, что он извлекает из рояля беспорядочную смесь звуков, которые действительно не имели ничего общего с привычными для них музыкальными формами, и что художник как попало кладет краски на свои полотна. Если на одном из этих полотен им удавалось различить какую-нибудь форму, то они всегда находили ее нарочито грубой и вульгаризованной (то есть лишенной элегантности, свойственной произведениям той школы живописи, глазами которой они видели даже проходящих мимо по улице живых людей), а также ненатуральной, словно г-н Биш не знал анатомии человеческого плеча и ему не было известно, что у женщин не бывает лиловых волос.

Однако, когда «верные» расположились по дальним углам гостиной, доктор почувствовал, что таким удобным случаем нельзя пренебрегать, и, в то время как г-жа Вердюрен говорила последнее хвалебное слово по поводу сонаты Вентейля, внезапно набравшись храбрости, подобно начинающему пловцу, бросающемуся в воду, чтобы научиться держаться на ней, но выбирающему момент, когда на него смотрит не очень много народу, выпалил:

– Не правда ли, это, как говорится, композитор *di primo cartello*⁴.

⁴ Первокласный (ит.).

Сван узнал только, что недавно опубликованная соната Вентейля произвела большое впечатление в группе весьма передовых композиторов, но была еще совершенно неизвестна широкой публике.

– Я хорошо знаю одного господина по фамилии Вентейль, – сказал Сван, имея в виду преподавателя музыки сестер моей бабушки.

– Может быть, это он и есть! – воскликнула г-жа Вердюрен.

– О, нет! – со смехом отвечал Сван. – Если бы вы увидели его хотя бы на мгновение, вы не задали бы такого вопроса.

– Разве задать вопрос значит решить задачу? – вмешался доктор.

– Но это может быть его родственник, – продолжал Сван. – Это было бы довольно при-
скорбно; может ведь талантливый человек быть двоюродным братом какого-нибудь старого дурака. Если это так, то, клянусь, я готов пойти на самые жестокие муки, лишь бы только старый дурак познакомил меня с автором сонаты: прежде всего – на муку ходить в гости к старому дураку, общество которого, должно быть, ужасно.

Художник знал, что Вентейль был в этот момент серьезно болен и что доктор Потен боится, что нельзя спасти его жизнь.

– Как! – воскликнула г-жа Вердюрен. – Неужели есть еще люди, обращающиеся за помощью к Потену?

– Ах, госпожа Вердюрен, – притворно-возмущенным тоном сказал Котар, – вы забываете, что говорите об одном из моих коллег, даже больше – об одном из моих учителей.

Художник слышал где-то, будто Вентейлю угрожает потеря рассудка. И он стал уверять, что признаки этого можно заметить в некоторых пассажах сонаты. Замечание это не показалось Свану нелепым, но оно смутило его; ведь произведения чистой музыки лишены той логической связности, нарушение которой в речи является свидетельством безумия; поэтому обнаружение признаков безумия в сонате казалось ему чем-то столь же непостижимым, как обнаружение безумия собаки или лошади, хотя такие случаи наблюдаются в действительности.

– Оставьте меня в покое с вашими учителями, у вас знаний в десять раз больше, чем у него, – ответила доктору Котару г-жа Вердюрен тоном женщины, имеющей мужество высказывать свои убеждения и всегда готовой сразиться с лицами, не разделяющими ее взглядов. – Вы, доктор, по крайней мере не убиваете своих пациентов!

– Простите, сударыня, он ведь академик, – иронически возразил ей Котар. – Если больной предпочитает умереть от руки одного из князей науки... Гораздо шикарнее иметь возможность сказать: меня лечит Потен.

– Ах, вот как: шикарнее? – перебила его г-жа Вердюрен. – Значит, и в болезнях в настоящее время есть шик. Я не знала этого... Ну и рассмешили же вы меня, – вскричала она вдруг, пряча лицо в ладонях. – А я-то, дура, серьезно спорю, не замечая, что вы водите меня за нос.

Что касается г-на Вердюрена, то, находя несколько утомительным смеяться по такому ничтожному поводу, он пустил лишь облако дыма из своей трубки, с грустью констатировав свою неспособность угнаться за женой по части веселья и любезности.

– Знаете, ваш друг очень нам нравится, – сказала г-жа Вердюрен Одетте, когда та простилась с нею. – Он прост, обаятелен; если все ваши друзья, с которыми вы хотели бы познакомить нас, такие, как он, приводите их сюда, пожалуйста.

Г-н Вердюрен заметил, однако, что Сван не оценил по достоинству тетку пианиста.

– Он чувствовал некоторое стеснение, бедняга, – отвечала г-жа Вердюрен. – Не станешь же ты требовать, чтобы с первого посещения он уловил тон дома, как, скажем, Котар, состоящий членом нашего маленького клана уже столько лет. Первое посещение не в счет, он только еще осматривался. Одетта, давайте условимся, что он встретится с нами завтра в Шатле. Может быть, вы пригласили бы его туда?

– Нет, он не захочет.

– Ну, как вам угодно. Лишь бы только он не увильнул от нас в последнюю минуту!

К великому изумлению г-жи Вердюрен, он никогда не «увиливал» от них. Он всюду бывал в их обществе: в загородных ресторанах, куда, впрочем, они ходили сравнительно редко, потому что сезон еще не начался, и главным образом в театре, который очень любила г-жа Вердюрен; и когда однажды у себя в гостиной она сказала в его присутствии, что им очень полезно было бы иметь в дни премьер или спектаклей-гала разрешение из префектуры, дающее право приезжать вне очереди, и стала жаловаться на то, что отсутствие его причинило им много неприятностей в день похорон Гамбетты, то Сван, никогда не упоминавший о своих фешенебельных знакомствах, но лишь о низко расцениваемых, скрывать которые он считал поэтому признаком дурного вкуса и к числу которых, вращаясь в салонах Сен-Жерменского предместья, он привык относить свои знакомства в официальных сферах Третьей Республики, необдуманно заявил:

– Обещаю вам это устроить; вы будете иметь разрешение ко времени возобновления «Данишевых»; на завтраке в Елисейском дворце я встречусь с префектом полиции.

– Как, в Елисейском дворце? – громовым голосом вскричал доктор Котар.

– Да, у г-на Греви, – ответил Сван, несколько смущенный эффектом, произведенным его словами.

Художник спросил доктора насмешливым тоном:

– Вас часто этак ошарашивают?

Получив объяснение, Котар обыкновенно приговаривал: «А, хорошо, хорошо, прекрасно» – после чего не выказывал больше ни малейших признаков волнения.

Но на этот раз последние слова Свана не только не дали ему привычного успокоения, но, напротив, довели до апогея его изумление по поводу сделанного им открытия, что человек, с которым он сидел за одним столом, человек, не занимавший никакого официального положения и не имевший никаких знаков отличия, бывал на приемах у главы государства.

– Что вы говорите, у г-на Греви? Вы знакомы с г-ном Греви? – спросил он Свана озадаченным и недоверчивым тоном стоящего на посту у дворца полицейского, к которому какой-нибудь неизвестный обращается с вопросом, можно ли видеть президента республики, и который, поняв из этих слов, «с кем он имеет дело», как говорится в газетах, уверяет несчастного сумасшедшего, что тот будет принят сию минуту, и направляет его на ближайший полицейский медицинский пункт.

– Я немного знаком с ним; у нас есть общие друзья. – (Сван не решился сказать, что одним из этих друзей был принц Уэльский.) – Впрочем, он приглашает очень легко, и я уверяю вас, что эти завтраки совсем не заняты; к тому же они очень просты, за столом никогда не бывает больше восьми человек, – отвечал Сван, всячески стараясь сгладить слишком сильное впечатление, произведенное на доктора его знакомством с президентом республики.

Котар тотчас же истолковал эти слова Свана в буквальном смысле и решил, что приглашения г-на Греви не имеют большой цены, что они рассылаются всем и каждому и никто не бывает особенно польщен ими. После этого он не удивлялся больше, что Сван, подобно многим другим, посещал Елисейский дворец; он даже слегка жалел его за то, что ему приходится бывать на этих завтраках, которые сам же Сван находил скучными.

– А, прекрасно, прекрасно; все в порядке, – сказал он тоном таможенного досмотрщика, подозрительно на вас поглядывавшего, но после ваших объяснений дающего визу и позволяющего вам продолжать ваше путешествие, не обследуя содержимого ваших чемоданов.

– О, я вполне верю вам, что завтраки эти совсем не заняты; ходить на них, должно быть, большой подвиг, – сказала г-жа Вердюрен, смотревшая на президента республики только как на «скучного», притом особенно опасного, так как в его распоряжении были такие средства обольщения и даже принуждения, которые, будучи применены к «верным», легко могли повлечь их «измену». – Говорят, что он глух как пень и кушает пальцами.

– Ну, в таком случае вам вряд ли доставляет большое удовольствие ходить туда, – сказал доктор с ноткой соболезнавания в голосе; затем, пораженный цифрой приглашенных – только восемь! – Что же, эти завтраки интимны? – спросил он вдруг не столько из праздного любопытства, сколько с надеждой желанием укрепиться в своих лингвистических познаниях.

Но престиж, каким обладал в его глазах президент республики, в конце концов восторжествовал все же и над скромностью Свана, и над недоброжелательностью г-жи Вердюрен, и за каждым обедом Котар с любопытством спрашивал: «Как вы думаете, увидим мы сегодня вечером г-на Свана? Он один из близких знакомых г-на Греви. Не правда ли, его можно назвать настоящим джентльменом?» Любезность доктора дошла даже до того, что он предложил Свану пригласительный билет на зубную выставку.

– По этому билету вы можете прийти туда с кем пожелаете, но собак туда не пропускают. Вы понимаете, я говорю вам это потому, что некоторые из моих друзей не знали о существовании такого правила, и у них вышли неприятности.

Что касается г-на Вердюрена, то от внимания его не ускользнуло дурное впечатление, произведенное на его супругу сделанным в доме открытием, что у Свана есть влиятельные друзья, о которых он никогда не говорил.

Если не устраивалось совместное посещение театра или ресторана, то Сван находил весь «кружок» у Вердюренов, но он являлся к ним только вечером и почти никогда не принимал приглашений к обеду, несмотря на настойчивые просьбы Одетты.

– Я могла бы даже обедать где-нибудь одна с вами, если вам это больше нравится, – говорила ему она.

– А г-жа Вердюрен?

– О, это устроить очень просто. Мне стоит только сказать, что не было готово мое платье или что мой кеб был подан с запозданием. Всегда можно как-нибудь оправдаться.

– Вы очень милы.

Но Сван говорил себе, что, намекая Одетте (своим согласием встречаться с нею только после обеда) на существование у него удовольствий, которые он предпочитал удовольствию находиться в ее обществе, он обеспечивает продолжительность и силу ее влечения к нему. К тому же, ставя значительно выше, по сравнению с красотой Одетты, красоту одной свеженькой и пышной как роза работницы, в которую он был тогда влюблен, он предпочитал проводить начало вечера с нею, будучи вполне уверен, что вслед за тем увидится с Одеттой. По этим же соображениям он никогда не позволял Одетте заезжать к нему, чтобы вместе отправиться к Вердюренам. Работница ожидала его обыкновенно недалеко от дома, на ближайшем углу; Реми, кучер Свана, знал, где остановить экипаж; она вскакивала, садилась рядом со Сваном и оставалась в его объятиях до той минуты, когда экипаж подкатывал к подъезду Вердюренов. Он входил в гостиную, и в то время как г-жа Вердюрен, показывая на присланные им утром розы, говорила: «Я сержусь на вас» – и указывала ему место подле Одетты, пианист играл для них одних фразу из сонаты Вентейля, ставшую как бы гимном их любви. Он начинал всегда со скрипичных тремоло, которые в течение нескольких тактов не сопровождались аккомпанементом и наполняли своим звучанием весь передний план; затем они вдруг как бы раздвигались и – совсем как в тех картинах Питера де Гоха, где впечатление глубины создается узкой рамой полуоткрытой двери, – где-то далеко-далеко, окрашенная в другой тон, в бархатистом свете проникшего откуда-то со стороны луча, показывалась коротенькая фраза, танцующая, пасторальная, чужеродная, эпизодичная, принадлежащая к другому миру. Простыми и бессмертными движениями проходила она, рассыпая кругом дары своей прелести, все с той же невыразимо нежной улыбкой; но Свану казалось, что в ней сквозило теперь некоторое разочарование. Она как будто сознавала тщету счастья, к которому указывала путь. В воздушной ее грации было действительно нечто законченное, нечто похожее на отрешенность, бесстрашие, воцаряющееся в душе после вспышки напрасных сожалений. Но ему было мало нужды; он рассмат-

ривал фразу не столько саму по себе – со стороны того, что она могла выражать для какого-то композитора, во время ее сочинения не знавшего ни о его существовании, ни о существовании Одетты, и для всех тех, кто будет слушать ее в течение столетий, – сколько в качестве залога, памятки о его любви, заставлявшей даже Вердюрену и юного пианиста думать одновременно о нем и об Одетте, соединявшей их; он до такой степени утвердился в этой точке зрения, что, уступая капризу Одетты, отказался от своего проекта попросить какого-нибудь пианиста сыграть ему всю сонату и по-прежнему знал только этот отрывок. «Зачем вам знать остальное? – говорила она ему. – Это наш кусочек; больше нам ничего не нужно». И даже, страдая, когда она проходила так близко, оставаясь все же бесконечно далекой ему, от мысли, что, обращаясь к нему и к Одетте, она их не знала, он почти сожалел о том, что она имела какое-то значение, что ей была присуща какая-то бесспорная внутренняя красота, чуждая им, подобно тому как, глядя на подносимые нам драгоценности и даже читая письма от любимой женщины, мы бываем недовольны чистотой воды камня и словами фраз письма за то, что они состоят не исключительно из сущности мимолетной любовной связи и именно этой любимой нами женщины.

Часто он настолько задерживался со своей молоденькой работницей перед приездом к Вердюренам, что едва только коротенькая фраза бывала исполнена пианистом, как Сван замечал, что скоро наступит час, когда Одетта уходила обыкновенно домой. Он провожал ее до ворот ее особняка на улице Ла-Перуз, за Триумфальной аркой. И, может быть, по этой причине, не желая просить ее, чтобы она уделяла ему всю свою благосклонность, он жертвовал менее насущным удовольствием видеть ее раньше, приезжать с нею к Вердюренам, ради привилегии (за пользование которой она бывала ему признательна) вместе уезжать от них; привилегию эту он ценил выше, потому что, благодаря ей, у него создавалось впечатление, будто никто другой не видится с ней, не становится между ними, не препятствует ему оставаться в ее мыслях после того, как он покидал ее.

Таким образом, каждый вечер возвращалась она домой в экипаже Свана; однажды, сойдя с экипажа, она поспешно подбежала, в то время когда он говорил ей «до завтра», к решетке садика перед домом, сорвала последнюю запоздалую хризантему и бросила ему, когда лошади уже трогались. На обратном пути Сван все время прижимал ее к губам, и, когда через несколько дней цветок завял, он бережно спрятал его в ящик своего письменного стола.

Но он никогда не заходил к ней. Два раза только он был у нее днем на «чашке чаю» – этом столь важном в ее жизни церемониале. Обособленность и пустынность этих коротких улиц (застроенных почти сплошь небольшими, вплотную примыкавшими друг к другу особняками, однообразие которых там и сям прерывалось какой-нибудь жалкой лавчонкой – историческим пережитком и грязным остатком тех времен, когда кварталы эти пользовались дурной славой), снег, еще лежавший в саду и висевший на ветвях деревьев, неприглядное время года, клочки природы – все это сообщало какую-то большую таинственность теплу, цветам, комфорту, которые он нашел в ее доме.

Оставив налево помещавшуюся в нижнем этаже, несколько приподнятом над уровнем улицы, спальню Одетты, выходящую на параллельный переулок, Сван поднимался по прямой лестнице, которая проложена была между стенами, окрашенными в темный цвет и увешанными восточными тканями и турецкими четками, и освещалась большим японским фонарем, спускавшимся с потолка на шелковом шнурке (впрочем, чтобы не лишать посетителей последних достижений западной цивилизации, в фонаре этом горел газ), в две гостиной: большую и маленькую. Перед тем как попасть в них, нужно было миновать узенькую переднюю, где вдоль стены, расклеванной деревянным трельяжем, как садовые решетки, только позолоченным, тянулся, во всю ее длину, прямоугольный ящик, словно оранжерея, с рядами больших хризантем, в те времена цветов довольно редких, но, правда, далеко не столь пышных, как те виды, что впоследствии удалось вырастить садоводам. Свана раздражала мода на эти цветы,

которыми уже больше года увлекался Париж, но здесь ему приятно было видеть, как полумрак маленькой передней испещрялся розовыми, оранжевыми и белыми пахучими лучами эфемерных звезд, горевших холодным пламенем в сером сумраке зимних дней. Одетта приняла его в розовом шелковом домашнем платье, обнажавшем ее шею и руки. Она усадила его подле себя в одном из многочисленных укромных уголков, устроенных повсюду в гостиной под листьями огромных пальм в горшках из китайского фарфора и замаскированных ширмами, увешанными фотографиями, веерами и бантиками. Она сказала: «Вам так неудобно; подождите, сейчас я вас устрою» – и со смешком, выражавшим ее довольство своей изобретательностью, положила под голову и под ноги Свану большие подушки из японского шелка, обращаясь с ними с такой небрежностью, точно она не придавала никакой цены своим богатствам. Но когда лакей начал вносить в комнату одну за другой многочисленные лампы, все почти помещенные в китайские вазы, и ставил их по одной или по две на разнообразные столики и этажерки, словно на алтари, так что в уже сгущавшихся сумерках короткого зимнего дня они как бы снова зажигали закатные огни, более продолжительные, более розовые и более человеческие, – погружая, может быть, в мечтательность одинокого влюбленного, остановившегося на улице перед тайной чьей-то жизни, одновременно и обнаруживаемой и скрываемой освещенными окнами – она искоса внимательно наблюдала, правильно ли расставляет лакей лампы на предназначенные для них священные места. Ей казалось, что, если хоть одна лампа будет поставлена на ненадлежащее место, то весь эффект ансамбля ее гостиной будет разрушен и ее портрет на наклонном мольберте, задрапированном плюшем, окажется невыгодно освещенным. Вот почему она лихорадочно следила за движениями этого неуклюжего человека и сделала ему резкое замечание, когда он прошел слишком близко около двух жардиньерок, к которым она не позволяла ему прикасаться и сама вытирала их из опасения, как бы он не повредил растений; она подбежала даже взглянуть, не помял ли он цветов. Она находила «забавными» формы всех своих китайских безделушек, а также орхидей, особенно катлей, которые вместе с хризантемами были ее любимыми цветами, так как обладали большим достоинством: были вовсе не похожи на цветы, но казались сделанными из лоскутков шелка или атласа. «Вот эта как будто вырезана из подкладки моего пальто», – сказала она Свану, показывая на одну из орхидей, с ноткой почтения к этому «шикарному» цветку, к этой элегантной сестре, неожиданно дарованной ей природой и хотя помещавшейся далеко от нее на лестнице живых существ, однако изысканно-утонченной и гораздо более, чем многие женщины, достойной быть допущенной в ее гостиную. Привлекая его внимание то к химерам с огненными языками, написанным на вазе или вышитым на экране, то к мясистым лепесткам орхидей, то к верблюду из серебра с чернью с рубиновыми глазами, стоявшему на камине рядом с нефритовой жабой, она прикидывалась, будто ее пугает злобный вид чудовищ или смешат их уродливые формы, будто она краснеет от непристойных цветов и испытывает непреодолимое желание расцеловать верблюда и жабу, называя их «душками». И это притворство находилось в резком контрасте с искренностью некоторых ее чувств, например благоговения к Лагетской Богоматери, когда-то, во время пребывания ее в Ницце, исцелившей ее от смертельной болезни; с тех пор она всегда носила на себе золотой образок ее, приписывая ему чудотворную силу. Налив Свану чаю, Одетта спросила его: «Лимон или сливки?» – и когда тот ответил: «Сливки», сказала ему со смехом: «Облачком!» А когда он объявил, что чай превосходен, – «Вот видите, я знаю, какой вы любите». Этот чай действительно показался Свану, совершенно так же, как и Одетте, необыкновенно изысканным, и любовь чувствует такую потребность находить себе подкрепление, гарантию длительности, в наслаждениях, которые, напротив, без любви не существовали бы и прекращаются вместе с концом ее, что, покинув ее в семь часов, чтобы возвратиться домой и переодеться к вечеру, он не мог сдерживать радости, доставленной ему часами, проведенными у Одетты, и всю дорогу повторял себе, сидя в своей двухместной карете: «Как приятно, однако, было бы иметь вот такую особу, у которой всегда можно было бы найти столь редкую вещь, как дей-

ствительно вкусный чай». Через час он получил записку от Одетты и сразу узнал ее крупный почерк, в котором напускная британская жесткость придавала нескладным буквам видимость дисциплины, хотя для менее предвзятых глаз они явились бы, пожалуй, свидетельством беспорядочности мысли, поверхностности образования, недостатка прямоты и слабоволия. Сван забыл у Одетты свой портсигар. «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно».

Второй визит Свана к Одетте был, пожалуй, еще более знаменательным. Направляясь к ней в тот день, он мысленно рисовал себе ее образ, как делал это каждый раз, когда заранее знал, что увидится с нею; и необходимость, при желании найти лицо ее красивым, сосредоточивать внимание исключительно на розовых и свежих ее скулах, пренебрегая остальными частями щек, которые часто бывали у нее желтыми, истомленными, а иногда покрытыми маленькими красноватыми пятнышками, погружала его в уныние, как доказательство того, что идеал есть вещь недостижимая, а так называемое счастье всегда посредственно. Он привез ей гравюру, которую она хотела посмотреть. Она чувствовала себя не совсем здоровой и приняла его в лиловом пеньюаре из крепдешина, прикрывая свою грудь, как плащом, куском богато вышитой материи. Когда она стала подле него, уронив на щеки пряди незаплетенных волос, слегка выпятив одну ногу и поставив ее в почти танцевальную позицию, чтобы без утомления можно было нагибаться над гравюрой, которую она рассматривала, наклонив голову, своими большими глазами, такими усталыми и хмурыми, если ничто их не оживляло, то Свана поразило ее сходство с Сепфорой, дочерью Иофора, чью фигуру можно видеть на одной из фресок, украшающих Сикстинскую капеллу. Сван всегда питал какое-то особенное пристрастие к нахождению на картинах старых мастеров не только общего сходства с окружающей нас действительностью, но того, что как будто, напротив, наименее поддается обобщению, именно индивидуальных черточек лиц знакомых нам людей; так, например, в бюсте дожа Лоредано работы Антонио Риццо он видел выдающиеся скулы и косые брови своего кучера Реми, как и вообще поразительное сходство с ним; в красках Гирландайо – нос г-на де Паланси; в одном портрете Тинторетто – лоснившиеся от прорастания бакенбард щеки, ломаную линию носа, пронизательный взгляд, припухшие веки доктора дю Бульбона. Так как в глубине души Сван всегда сожалел, что ограничил свою жизнь посещением светских салонов и больше разговаривает, чем действует, то он, может быть, думал найти себе своего рода снисходительное извинение у великих художников в том факте, что и они с удовольствием созерцали и ввели в свои произведения привлекавшие его типы человеческих лиц, сообщающие этим произведениям такой исключительный реализм и жизненность, такую современную остроту и сочность; а может быть, впрочем, он до такой степени предался суетности светского общества, что чувствовал потребность находить в старых произведениях искусства какой-нибудь меткий и забавный намек на людей ныне здравствующих. Наконец, может быть, наоборот; у него сохранилось достаточно художественного темперамента для того, чтобы эти характерные индивидуальные черты могли доставлять ему удовольствие, принимая более общее значение с момента, когда лишались в его глазах связи с определенной исторической эпохой, теряли свою материю, и он подмечал в каком-нибудь старинном портрете сходство с современным оригиналом, о существовании которого художник не подозревал. Как бы там ни было, и, может быть, благодаря тому, что изобилие полученных им в последнее время впечатлений, хотя источником их была скорее вспыхнувшая в нем любовь к музыке, обострило также его вкус к живописи, – во всяком случае, необычна была интенсивность наслаждения, и ему суждено было оказать длительное влияние на жизнь Свана, – наслаждения, испытанного им, когда он обнаружил сходство Одетты с Сепфорой того Сандро ди Мариано, которого более тонкие ценители искусства избегают называть популярным прозвищем «Боттичелли», так как это прозвище вызывает теперь не столько идею о подлинном творчестве художника, сколько ставшие с недавнего времени ходячими банальные и ложные представления о нем. Он не оценивал теперь лицо Одетты соот-

ветственно большей или меньшей доброкачественности ее щек и на основании чисто телесной мягкости, которую должны будут найти во время прикосновения к ним его губы, если когда-нибудь он осмелится поцеловать их, но смотрел на нее скорее как на сплетение тонких и красивых линий, которые он разматывал и вновь соединял, следуя взглядом за их извилинами и завитками, сопоставляя каденцию затылка и щек с потоком волос и крутым изгибом век, словно перед ним был ее портрет, где тип ее стал понятным и ясным.

Он смотрел на нее; кусок фрески оживал в ее лице и теле, и с тех пор Сван всегда старался вновь увидеть его, находился ли он подле Одетты, или же только думал о ней; и хотя шедевр флорентийца стал дорог ему, вероятно, лишь потому, что он находил в ней его воспроизведение, однако это сходство повышало в его глазах также и ее красоту, делало ее более драгоценной. Сван упрекал себя за то, что не оценил по достоинству женщину, от которой пришел бы в восторг великий Сандро, и радовался, что удовольствие, доставляемое ему лицеизрением Одетты, оказалось оправданным его эстетической культурой. Он говорил себе, что, связывая мысль об Одетте со своими мечтами о счастье, он не покоряется, как ему до сих пор казалось, печальной необходимости иметь дело с сомнительной и второсортной ценностью, ибо ей присущи были качества, удовлетворявшие самым утонченным его художественным вкусам. Он упускал из виду, что Одетта не становилась от этого женщиной, соответствовавшей его чувственным желаниям, которые всегда направлялись у него в сторону прямо противоположную его эстетическим вкусам. Слова «флорентийская живопись» оказали Свану неоценимую услугу. Они сыграли роль своего рода титула, позволившего ему ввести образ Одетты в мир своих грез, куда до той поры она не имела доступа и где она приобрела новый, более благородный облик. И в то время как чисто физическое представление, составившееся у него об этой женщине, постоянно возобновляя его сомнения относительно достоинств ее лица, ее тела и ее красоты в целом, охлаждало его любовь, сомнения эти разом исчезли и любовь эта победно утвердилась, когда он оказался способным обосновать ее на незыблемых положениях своей эстетики; не говоря уже о том, что поцелуй и обладание, которые показались бы ему естественными и не слишком заманчивыми, если бы их согласилась дать ему женщина с посредственным телом, теперь, когда они увенчивали его восхищение музейным шедевром, рисовались ему как нечто сверхъестественное и изысканно-сладостное.

И когда у него являлись сожаления, что в течение месяцев он только видится с Одеттой, то он убеждал себя, что нет ничего неразумного посвятить столько времени на изучение бесценного шедевра искусства, отлитого на этот раз из вещества нового, необычного и исключительно прямого, в редчайшем экземпляре, который он созерцал то смиренным, проникновенным и бескорыстным взором художника, то гордыми, эгоистическими и сластолюбивыми глазами коллекционера.

Он поставил на письменном столе, как бы взамен фотографии Одетты, репродукцию дочери Иофора. Он любовался большими глазами, тонкими чертами лица, выдававшими несовершенство кожи, чудесными локонами, падавшими на утомленные щеки; и, приспособляя то, что он признавал прекрасным до сих пор с эстетической точки зрения, к представлению живой женщины, он превращал эту красоту в ряд физических достоинств, поздравлял себя с тем, что ему удалось найти соединение этих достоинств в существе, которым он, может быть, будет когда-нибудь обладать. Смутная симпатия, влекущая зрителя к находящемуся перед ним произведению искусства, теперь, когда Сван познакомился с обладающим плотью и кровью оригиналом дочери Иофора, стала у него чувственным желанием, с избытком восполнявшим то, чего первоначально не могли внушить ему физические качества Одетты. По целым часам любуясь этим Боттичелли, он думал о собственном живом Боттичелли и находил его еще прекраснее стоявшего перед ним на столе снимка; приближая к себе фотографию Сепфоры, Сван воображал, будто прижимает к сердцу живую Одетту.

И однако не только равнодушие Одетты он всячески старался предотвратить; нередко устрашало его собственное равнодушие; заметив, что теперь, когда она получила возможность легко видеться с ним, Одетта больше не делала вида, будто хочет сказать ему при встрече нечто значительное, он испугался, как бы усвоенная ею теперь несколько тривиальная, однообразная и словно навсегда утвердившаяся манера держаться в его обществе не убила в нем в конце концов романтической надежды на наступление дня, когда она откроет ему свою страстную любовь, – ведь только благодаря этой надежде он полюбил и продолжал оставаться влюбленным. И вот, чтобы немного обновить душевный облик Одетты, слишком застывшие черты которого, боялся он, утомят его, Сван писал ей вдруг письмо, полное мнимых разочарований и притворного негодования, отправив его с таким расчетом, чтобы она могла получить его до обеда. Он знал, что она испугается, поспешит ответить ему, и надеялся, что когда сердце ее сожмется от страха потерять его, то из него брызнут слова, которые она никогда еще не говорила ему; и действительно – при помощи этой уловки ему удалось добиться от нее самых нежных писем, какие только она писала ему, и одно из этих писем, присланное ею в полдень из «Золотого дома» (там происходил тогда благотворительный праздник Париж-Мурсия, устроенный в пользу жертв недавнего наводнения в Мурсии), начиналось так: «Дорогой друг, рука моя так дрожит, что я едва в состоянии писать»; эти письма Одетты Сван бережно спрятал в тот же ящик, где хранилась увядшая хризантема. Или же, если у нее не было времени написать, она живо подбегала к нему, едва только он показывался на пороге гостиной Вердюренов, и обращалась со словами: «Мне нужно поговорить с вами!» – и он с любопытством наблюдал, как на лице ее и в ее словах обнаруживались до сих пор скрываемые ею движения ее сердца.

Еще только подъезжая к дому Вердюренов и едва заметив большие освещенные окна их гостиной, никогда не закрывавшиеся ставнями, он приходил в умиление при мысли о пленительном существе, которое он вскоре увидит в золотистом свете ламп. По временам, заслоня свет, четко обрисовывались в пространстве между лампой и окном черные тени гостей, похожие на те картинки, что наклеиваются там и сям на прозрачный абажур, остальные части которого представляют собой лишь светлое пространство. Он пытался различить силуэт Одетты. Затем, едва только он входил в комнату, глаза его невольно начинали лучиться такой радостью, что г-н Вердюрен говорил художнику: «Эге! Кажется, будет жарко». В самом деле, присутствие Одетты наделяло этот дом в глазах Свана тем, чего не было, по-видимому, ни в одном из домов, где он был принят: своего рода чувствительностью, нервной системой, разветвлявшейся по всем комнатам и непрерывно посылавшей раздражения в его сердце.

Таким образом, простое функционирование этого социального организма – «маленького клана» – автоматически обеспечивало Свану ежедневные свидания с Одеттой и позволяло ему прикидываться, будто для него безразлично, увидит он ее или нет, и даже будто у него вовсе нет желания видеть ее; поступая так, он не подвергал себя большому риску, ибо, что бы он ни писал ей днем, все равно встреча с нею вечером и проводы ее домой были обеспечены. Но однажды, подумав с досадой об этом неизбежном совместном возвращении домой, он захотел по возможности отдалить момент прихода к Вердюренам, увез свою молоденькую работницу до самого Булонского леса и приехал в «маленький клан» так поздно, что Одетта, не дождавшись его, отправилась домой одна. Окинув взглядом гостиную и не найдя ее, Сван почувствовал, что сердце его зануло; он содрогнулся от сознания, что лишается наслаждения, силу которого почувствовал впервые, ибо до этой минуты обладал уверенностью получить его в любое время, когда пожелает, – уверенностью, которая уменьшает или даже вовсе скрывает от наших глаз подлинные размеры всякого наслаждения.

– Заметила ли ты физиономию, которую он соорудил, когда увидел, что ее нет? – спросил г-н Вердюрен у жены. – Можно было подумать, что его ущипнули!

– Физиономию, которую он соорудил? – громко переспросил доктор Котар, только что приехавший от больного за женой и не знавший, о ком идет речь.

– Как, вы не встретились при входе с прекраснейшим из Сванов?

– Нет. Господин Сван был здесь?

– Только сию минуту ушел. Никогда еще он не бывал таким возбужденным, таким нервным. Вы понимаете: он не застал Одетту.

– Вы хотите сказать, что она на дружеской ноге с ним, что она сожгла корабли? – спросил доктор, осторожно взвешивая смысл этих выражений.

– Ничуть; у них ровно ничего нет; говоря между нами, я нахожу, что она делает большую ошибку и ведет себя как набитая дура, каковой, впрочем, она и является в действительности.

– Та, та, та, – иронически протянул г-н Вердюрен, – почему ты знаешь, что у них ничего нет? Разве мы присутствуем при всех их свиданиях?

– Будьте уверены, что она бы сказала мне, – с достоинством ответила г-жа Вердюрен. – Утверждаю вам, что она рассказывает мне о всех своих похождениях! Так как у нее нет никого в настоящее время, то я убеждала ее жить с ним. Она заявляет, будто она не может; будто она весьма равнодушна к нему, но он с нею робок и от этого сама она робеет. Она заявляет, кроме того, будто ее любовь совсем не такая, а идеальная, платоническая, будто она боится подвергнуть профанации возвышенные чувства, и тому подобные глупости. Но он как раз то, что ей нужно.

– Разрешите мне остаться при особом мнении, – вежливо перебил г-н Вердюрен. – Мне не очень нравится этот господин; я нахожу его позером.

Г-жа Вердюрен застыла в неподвижности, приняв такое выражение, точно она вдруг превратилась в статую, – уловка, позволявшая присутствовавшим предположить, будто она не слышала этого невыносимого для ее уха слова, способного, казалось, внушить мысль, что в ее доме можно позировать и что, следовательно, есть на свете люди, которые «больше, чем она».

– Наконец, если даже у них нет ничего, то я не думаю, чтобы это объяснялось тем, что этот господин считает ее добродетельной, – иронически произнес г-н Вердюрен. – А впрочем, все может быть, потому что он, по-видимому, принимает ее за женщину интеллигентную. Не знаю, слышала ли ты, какую лекцию прочитал он ей однажды насчет сонаты Вентейля; я люблю Одетту от всего сердца, но излагать ей эстетические теории – для этого нужно быть патентованным простофилей!

– Послушайте, не говорите дурно об Одетте, – перебила его г-жа Вердюрен, прикидываясь ребенком. – Она очаровательна.

– Но ведь это не мешает ей быть очаровательной; мы не говорим о ней ничего дурного, мы говорим только, что она не есть воплощение добродетели и ума. В сущности, – обратился он к художнику, – разве так уж важно, чтобы она была добродетельна? Кто знает: может быть, тогда пропало бы все ее очарование!

На площадке лестницы к Свану подошел метрдотель, который куда-то отлучился во время его приезда; Одетта поручила передать Свану— но это было уже час тому назад – в случае, если он еще приедет, что перед возвращением домой она, вероятно, заедет к Прево выпить чашку шоколаду. Сван тотчас же отправился к Прево, но на каждом шагу экипаж его задерживался другими экипажами или людьми, переходившими улицу, – досадными помехами, которые он с удовольствием опрокинул бы, если бы составление протокола полицейским не задержало его еще больше, чем остановка экипажа из-за переходящего улицу пешехода. Он лихорадочно считал минуты, прибавляя к каждой из них по несколько секунд для большей уверенности, что он не сокращает их, мысленно увеличивая таким образом шанс приехать к Прево вовремя и еще застать там Одетту. Затем, в минуту просветления, – подобно большому лихорадочному, очнувшись от тяжелого сна и начинающему сознавать нелепость бредовых видений, среди которых он блуждал, не будучи в состоянии провести отчетливую границу между собою и ими, – Сван вдруг отдал себе отчет, насколько чужды были ему мысли, овладевшие им с момента, когда ему сказали у Вердюренов, что Одетта уже уехала, насколько новой

была испытываемая им сердечная боль, которую он сейчас только сознал, точно проснувшись от глубокого сна. Как! Все это треволение оттого лишь, что он не увидит Одетту раньше завтрашнего дня, между тем как именно этого он и желал всего какой-нибудь час тому назад, направляясь к г-же Вердюрен. Он был вынужден признать, что, сидя в том же самом экипаже, увозившем его теперь к Прево, он не был больше прежним Сваном и не был даже один, но с ним вместе находилось другое существо, присосевшее к нему, спаянное с ним, существо, от которого он не в силах будет, может быть, освободиться, с которым ему придется обращаться так же деликатно, как мы обращаемся с нашим начальством или с нашей болезнью. И все же с той минуты, как он почувствовал, что новое существо соединилось, таким образом, с ним, жизнь его показалась ему более интересной. Напрасно говорил он себе, что возможное свидание с нею у Прево (напряженное ожидание которого до такой степени опустошало, оголяло предварявшие его мгновения, что он не мог найти ни одной мысли, ни одного воспоминания, способных доставить хотя бы малейшее успокоение его уму), если только оно состоится, по всей вероятности, будет похоже на все другие его свидания с нею, не принесет ничего особенного. Как и каждый вечер, едва только встретившись с Одеттой, бросив украдкой взгляд на ее переменчивое лицо и тотчас же отведя этот взгляд в сторону, из страха, как бы она не прочла в нем намек на рождающееся желание и не перестала бы верить в его равнодушие, он потеряет способность даже думать о ней, слишком поглощенный подысканием предлогов, которые позволили бы ему остаться еще некоторое время вместе с нею и заручиться от нее обещанием, – не подавая при этом вида, будто он очень настаивает, – что они завтра снова встретятся у Вердюренов: иными словами, предлогов продлить на несколько мгновений и возобновить на следующий день мучительное обольщение, приносимое ему бесплодным присутствием этой женщины, которую, как ни близко он к ней подходил, Сван все не решался заключить в свои объятия.

Ее не было у Прево; тогда Сван решил осмотреть все рестораны бульваров. Чтобы выиграть время, сам он отправился в одном направлении, а в другом послал своего кучера Реми (дожа Лоредано работы Риццо), которого стал поджидать – после того как его собственные поиски оказались бесплодными – в условленном месте. Экипаж не возвращался, и Сван представлял себе приближавшийся момент одновременно как такой, что Реми скажет ему: «эта дама там», и как такой, что он услышит, напротив: «этой дамы нет ни в одном из кафе». И соответственно этому конец вечера рисовался ему одним и в то же время раздвоенным: он либо встретит Одетту, и та развеет его тоску, либо вынужден будет отказаться от всякой надежды найти ее сегодня вечером, примириться с необходимостью возвратиться домой, не повидав ее.

Кучер возвратился; но когда он остановил экипаж перед Сваном, последний не спросил его: «Вы нашли эту даму?» – но: «Напомните мне завтра распорядиться о покупке дров, мне кажется, что наш запас должен скоро истощиться». Может быть, он убедил себя, что если Реми нашел Одетту в каком-нибудь кафе, где она ожидала его, то злосчастный этот вечер уже изглажен вполне обеспеченным вечером счастливым, и что ему нет надобности спешить наслаждаться своим счастьем, так как оно поймано и заключено в надежном месте, откуда больше не ускользнет. Но тут действовала также сила инерции; душа его была, так сказать, неповоротлива, как бывает неповоротливо у некоторых людей тело, у тех людей, что в момент, когда нужно увернуться от удара, выхватить платье из огня или совершить какое-нибудь другое не терпящее промедления движение, действуют не торопясь; остаются несколько мгновений в своем первоначальном положении, как бы пытаясь найти в нем точку опоры для разбега. И конечно, если бы кучер перебил его словами: «Эта дама там», он бы ответил ему: «Ах да, вы говорите о поручении, которое я вам дал; я совсем позабыл о нем» – и продолжал бы обсуждать вопрос о покупке дров, чтобы скрыть от кучера охватившее его волнение и дать себе самому время освободиться от своей тревоги и отдаться выпавшему на его долю счастью.

Но вернувшийся кучер доложил ему, что он нигде не нашел ее, после чего позволил себе высказать, на правах старого слуги:

– Я думаю, что барину самое лучшее возвратиться домой.

Однако равнодушный вид, который Свану так легко удалось напустить на себя, пока он был уверен, что Реми не в силах больше изменить что-либо в принесенном им благоприятном ответе, вдруг пропал, когда он увидел, что тот пытается убедить его оставить всякую надежду и прекратить бесплодные поиски.

– Все нет, – вскричал он, – мы должны найти эту даму; это крайне важно. Она будет очень раздосадована – у нас есть одно дело – и обидится на меня, если я не разыщу ее.

– Не понимаю, каким образом эта дама может обидеться, – проворчал Реми, – ведь это она уехала, не дождавшись барина; велела передать, что она будет у Прево, а между тем ее там нет.

Вдобавок всюду уже начали гасить свет. Под деревьями бульваров бродили еще редкие прохожие, но их едва можно было различить в сгустившейся темноте. Приблизившийся иногда к Свану призрак женщины, произносившей ему на ухо несколько слов, просившей проводить ее домой, заставлял его вздрагивать. С тоскою вглядывался он в эти неясные фигуры, как если бы среди теней мертвецов, в подземном царстве, он искал Эвридику.

Из всех способов зарождения любви, из всех деятельных начал, распространяющих этот сладостный яд, немногие могут сравниться по своей силе с бешеным вихрем возбуждения, иногда увлекающим нас в свой водоворот. В таких случаях жребий брошен: отныне мы полюбим женщину, в обществе которой мы ищем развлечения в тот момент. Для этого не нужно даже, чтобы раньше она нравилась нам больше, чем другие, или хотя бы в такой же степени, как и другие. Нужно только, чтобы наш вкус к ней стал исключительным. И это условие оказывается осуществленным, коль скоро – в момент, когда она уклонилась от свидания с нами, – наслаждение, которого мы искали в ее обществе, внезапно сменилось у нас томительным желанием, предметом которого является эта самая женщина, желанием нелепым, так как законы этого мира не дают возможности утолить его и в то же время делают для нас трудным излечение от него, – безрассудным и мучительным желанием обладать ею.

Сван велел Реми везти его в последние еще открытые рестораны; это была единственная гипотеза благополучного исхода, о которой он мог думать с относительным спокойствием; теперь он не скрывал больше своего волнения, важности, придаваемой им этой встрече, и обещал, в случае удачи, щедро дать на чай кучеру, как если бы, внушая ему желание добиться успеха и тем самым как бы подкрепляя свое собственное желание, он мог чудом устроить так, чтобы Одетта, в случае если она возвратилась уже домой и легла спать, оказалась все-таки в одном из ресторанов бульвара. Он доехал таким образом до «Золотого дома», дважды заходил к Тортони и, по-прежнему нигде не найдя ее, покинул Английское кафе и с освирепевшим видом шагнул к своему экипажу, поджидавшему его на углу Итальянского бульвара, как вдруг столкнулся лицом к лицу с женщиной, шедшей ему навстречу: это была Одетта; она объяснила ему потом, что, не найдя свободного столика у Прево, она поехала ужинать в «Золотой дом» и села там в уголок, где он, должно быть, не заметил ее; поужинав, она отправилась разыскивать свой экипаж.

Встреча со Сваном была до такой степени неожиданной для Одетты, что она в ужасе отшатнулась от него. Что касается Свана, то он обшарил Париж не потому, что питал какую-либо надежду найти ее, но потому, что отказ от этих поисков был бы для него слишком мучителен. Однако радость встречи, которую рассудок его не переставал считать, по крайней мере в этот вечер, несбыточной, наполнила его теперь с тем большей силой, ибо сам он ничего не прибавил к ней от себя путем предвидения вероятностей: вся целиком она была дана ему извне; ему не было надобности прибегать к своим внутренним ресурсам, чтобы сообщить ей неподдельность: из нее самой источалась, она сама метала ему эту неподдельность, чьи сверкающие

лучи рассеивали, как тяжелый сон, удручавшее его чувство одиночества, – эту неподдельность, эту истинность, на которую он опирал, на которой основывал, хотя и бессознательно, свои сладкие грезы. Так путешественник, приехавший в прекрасную солнечную погоду на берег Средиземного моря, уже сомневается в существовании только что покинутых им стран и, вместо того чтобы оглянуться назад и удостовериться, готов скорее ослепить свои взоры потоками света, посылаемыми ему лучезарной и неблекнувшей лазурью морского простора.

Он сел с нею в нанятый ею экипаж и приказал своему кучеру следовать за ними.

Она держала в руке букет катлей, и Сван увидел эти самые орхидеи также и под кружевным ее капором, в волосах, где они были приколоты к эгретке из лебяжьих перьев. Под мантилей на ней было надето черное бархатное платье в пышных складках, с одной стороны подобранное, так что виден был большой треугольный кусок белой шелковой юбки; в вырезе на груди была вставка также из белого шелка, куда было засунуто еще несколько катлей. Едва только она оправилась от испуга, вызванного неожиданной встречей со Сваном, как вдруг, наскочив на какое-то препятствие, лошадь шарахнулась в сторону. Толчок сорвал их с места, она вскрикнула и откинулась назад, вся трепещущая и задохшаяся.

– Ничего, пустяки, – сказал он ей, – не бойтесь. И он обнял ее за плечо, притянув к себе ее стан, чтобы поддержать ее, затем продолжал:

– Только, пожалуйста, не разговаривайте со мной; отвечайте мне знаками, иначе вы задохнетесь еще больше. Вас не побеспокоит, если я поправлю цветы у вас на платье? От толчка они рассыпались. Боюсь, как бы вы не потеряли их, я хотел бы засунуть поглубже. Одетта, не привыкшая к тому, чтобы мужчины обращались с нею так церемонно, отвечала с улыбкой:

– Нет, нет; это нисколько не беспокоит меня.

Но Сван, несколько расхоложенный ее ответом, а может быть, также желая создать впечатление, что он был искренним в этой уловке, или даже начиная сам верить в свою искренность, воскликнул:

– Нет, нет; прошу вас, не разговаривайте, вы опять задохнетесь. Вы свободно можете отвечать мне жестами; я пойму вас как нельзя лучше. Значит, я действительно не беспокою вас? Смотрите, вот тут немножко... мне кажется, что вас запачкала цветочная пыльца, вы позволите мне вытереть ее рукой? Я нажимаю не слишком сильно, я не очень груб? Может быть, я немножко щекочу вас? Это оттого, что я не хочу прикасаться к бархату, чтобы не измять его. Вот видите, мне непременно нужно было прикрепить их, иначе они свалились бы; а вот так, засунув их немножко глубже?.. Серьезно, я не неприятен вам? И вам не будет неприятно, если я понюхаю их, чтобы убедиться, действительно ли они потеряли запах? Вы знаете, я никогда не нюхал их, можно? Скажите правду!

Все время улыбаясь, она легонько пожалала плечами, как бы желая сказать: «Дурачок, вы отлично видите, что это мне нравится».

Он погладил другой рукой щеку Одетты: она пристально посмотрела на него томным и серьезным взглядом, так характерным для женщин флорентийского художника, с которыми он нашел у нее сходство; закатившиеся за приспущенные веки блестящие глаза ее, большие и тонко очерченные, как глаза Боттичеллиевых флорентиянок, казалось, готовы были оторваться и упасть словно две крупные слезы. Она изогнула шею, как она изогнута у всех этих флорентиянок, и в сценах из языческой жизни, и на религиозных картинах. И хотя принятая ею поза была, несомненно, для нее привычной, хотя она знала, что эта поза очень удобна в такие минуты, и внимательно наблюдала, как бы не забыть принять ее, все же она сделала вид, будто ей приходится затрачивать огромные усилия, чтобы удерживать свое лицо в этом положении, словно какая-то невидимая сила влекла его к Свану. И перед тем как она уронила его наконец, как бы вопреки своей воле, на его губы, Сван на мгновение удержал его на некотором расстоянии в своих руках. Он хотел дать время ее мыслям поспеть за движениями ее тела, сознать так долго лелеянную ею мечту и присутствовать при ее осуществлении, подобно матери, кото-

рую приглашают в качестве зрительницы на публичное вручение награды возвращенному ею и горячо ею любимому ребенку. А может быть, также сам Сван приковывал к лицу Одетты, еще не принадлежавшей ему и даже еще им не целованной, лицу, которое он видел в последний раз, тот многозначительный взгляд, каким мы в день отъезда смотрим на навсегда покидаемую нами страну, желая унести с собой ее образ.

Но он был настолько робок с нею, что и после этого вечера, начатого им с приведения в порядок ее катлей и законченного обладанием ею, – из боязни ли оскорбить ее, из нежелания ли показаться обманщиком, хотя бы задним числом, от недостатка ли смелости обратиться к ней с более настоятельным требованием, чем скромная просьба поправить ее цветы (которую он всегда мог повторять, ибо она не рассердила Одетту в первый раз), – в следующие дни он продолжал прибегать к этому предлогу. Если к ее корсажу были приколоты катлеи, он говорил: «Как жаль, сегодня не нужно поправлять ваших катлей, они не рассыпались, как в тот вечер; мне кажется, однако, что вот эта стоит недостаточно прямо. Можно мне понюхать, как они пахнут?» Или же, если катлей на ней не было: «О, ни одной катлеи сегодня! Мне нечего поправлять». Так что в течение некоторого времени оставался неизменным порядок, которого Сван держался в тот первый вечер, когда он начал с прикосновения пальцами, а затем губами, к груди Одетты, и ласки его по-прежнему начинались с этого скромного маневра; и много времени спустя, когда приведение в порядок (или ритуальное подобие приведения в порядок) ее катлей давно уже вышло из употребления, – метафора «свершать катлею», обратившаяся у них в простой глагол, который они употребляли, не думая о его первоначальном значении, когда хотели выразить акт физического обладания, – в котором, впрочем, обладатель не обладает ничем, – удержалась в их языке, закрепившем позабытый ими обычай. Возможно, что и наше выражение «свершать любовь», употребляемое нами обыкновенно в специфическом смысле, обозначало первоначально не совсем то, что обозначают его синонимы. Как бы ни были мы пресыщены женщинами, как бы мы ни рассматривали обладание самыми различными их разновидностями как акт всегда одинаковый и известный нам заранее, оно все же кажется нам неизведанным наслаждением, если мы имеем дело с женщинами труднодоступными – или принимаемыми нами за таковых, – так что нам приходится ожидать какого-нибудь непредвиденного эпизода при встречах с ними, каковым было для Свана приведение в порядок катлей. Он с трепетом надеялся в тот вечер (и Одетта, казалось ему, обманутая его уловкой, не могла догадаться о его намерении), что из их широких лиловых лепестков выйдет обладание этой женщиной; и наслаждение, которое он уже испытывал и которое Одетта допустит, может быть, думал он, потому только, что она совсем его не заметила, казалось Свану по этой причине – как оно казалось, вероятно, первому человеку, вкусившему его среди цветов земного рая, – наслаждением, никогда раньше не существовавшим и которое он впервые пытался создать, – наслаждением, совершенно своеобразным и новым, так что ему пришлось дать специальное название, закреплявшее его особенности.

Теперь, когда лед тронулся, Сван, проводив ее домой, каждый вечер должен был заходить к ней; часто она провожала его в капоте до самого экипажа и целовала на глазах у кучера, говоря: «Что мне за дело до того, что меня видят посторонние?» В те вечера, когда он не ходил к Вердюренам (что случалось иногда с тех пор, как он нашел возможность встречаться с нею в других местах) или посещал – все реже и реже – аристократические салоны, она просила его заезжать к ней перед возвращением домой, не обращая внимания на поздний час. Стояла весна, весна ясная и холодная. Выйдя из салона, он садился в викторию, закрывал ноги полостью, отвечал друзьям, приглашавшим его ехать домой вместе, что он не может, что ему не по дороге, и кучер сразу же трогал, хорошо зная, куда нужно везти. Друзья удивлялись, – и действительно, Сван не был больше прежним. Никто из них не получал больше от него писем, в которых он просил бы познакомить его с какой-нибудь женщиной. Он вообще перестал обращать внимание на женщин, воздерживался от посещения мест, где их обыкновенно можно

встретить. В ресторане или за городом манеры и поведение его были прямо противоположны манерам, по каким вчера еще любой его знакомый издали узнал бы его и какие, казалось, навсегда стали его неотъемлемой принадлежностью. До такой степени страсть является как бы нашим новым характером, кратковременным и отличным от нашего постоянного характера, не только утверждающимся на его месте, но и стирающим все черты, вплоть до самых неизменных, при помощи которых этот характер проявлялся! Зато неизменной теперешней чертой Свана было то, что, где бы он ни проводил вечер, он обязательно ехал потом к Одетте. Путь, отделявший его от нее, он обречен был неуклонно совершать, путь этот был как бы крутым скатом, по которому неудержимо низвергалась его жизнь. По правде говоря, засидевшись где-нибудь на вечере, он часто предпочитал бы вернуться прямо домой, не совершая этого длинного конца и отложив свидание с Одеттой до следующего дня; но самый тот факт, что он причинял себе беспокойство, навещая ее в столь ненормальное время, и что он догадывался, как расстававшиеся с ним друзья говорили друг другу: «Он связан по рукам и ногам; наверное, есть женщина, заставляющая его приходить к ней в любое время», давал ему чувствовать, что он вел жизнь тех людей, все существо которых овеяно любовной интригой и которые, благодаря принесению в жертву страстной мечте своего покоя и своих практических интересов, приобретают какое-то внутреннее очарование. Кроме того, эта уверенность, что она ожидает его, что она не находится где-нибудь в другом месте с незнакомыми ему людьми, что перед тем, как вернуться домой, он увидится с нею, как-то бессознательно для него лишала остроты ту позабытую им, правда, но всегда готовую воскреснуть тоску, которую он испытал в вечер, когда не застал Одетты у Вердюренов, и нынешнее успокоение, которое было так приятно, что, пожалуй, могло быть названо счастьем. Может быть, именно этой тоской объяснялась важность, приобретенная с тех пор Одеттой в его жизни. Люди обыкновенно так безразличны для нас, что когда мы приписываем кому-либо из них способность причинить нам острое страдание или доставить живую радость, то такой человек кажется нам принадлежащим как бы к другому миру, он окружается поэтическим ореолом, он расширяет пределы нашей жизни, делает ее волнующей, и в этих новых пространствах мы входим в большее или меньшее соприкосновение с ним. Сван не мог без тревоги задаваться вопросом, чем станет для него Одетта в будущие годы. Иногда, наблюдая со своей виктории в эти прекрасные холодные весенние ночи серебряную луну, заливавшую своим светом пустынные улицы, по которым он проезжал, Сван думал о другом ясном и чуть розоватом, как у этой луны, лице, в один прекрасный день взошедшем над горизонтом его сознания и с тех пор заливавшем мир таинственным сиянием, которым были теперь озарены для него все вещи. Если он приезжал после часа, когда Одетта отсылала своих слуг спать, то перед тем, как позвониться у калитки ее садика, он шел сначала на другую улицу, куда, наряду с другими совершенно одинаковыми, но темными окнами смежных домов, выходило одно только освещенное окно ее спальни в нижнем этаже. Он стучал в стекло, и она, услышав сигнал, отвечала и бежала встречать его на другую сторону дома, у садовой калитки. Он находил раскрытыми у нее на рояле ноты нескольких любимых ею вещей: «Valse des Roses»⁵

⁵ «Вальс роз» (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.